Джером Клапка
ДЖЕРОМ

ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ

ТРОЕ НА ЧЕТЫРЕХ КОЛЕСАХ

КАК МЫ ПИСАЛИ РОМАН

РАССКАЗЫ

ЗОЛОТОЙ ФОНД МИРОВОЙ КЛАССИКИ

Джером Клапка Джером

КАК МЫ ПИСАЛИ РОМАН

Пролог

Много лет назад, когда я был ребенком, мы жили в большом доме на какой-то прямой и длинной, закопченной улице лондонского Ист-Энда. Улица была шумной и многолюдной в дневные часы, но тихой и пустынной по ночам. В темноте немногочисленным газовым фонарям приходилось играть роль маяков, так как освещать путь им было не под силу. Шаги полисмена, обходившего свой бесконечный участок, то удалялись, то приближались, замирая на короткое мгновение, когда он останавливался, чтобы проверить, хорошо ли заперты двери и окна, или осветить фонариком какой-нибудь темный проулок, ведущий вниз к реке.

У нашего дома было много преимуществ — так мой отец обычно говорил друзьям, выражавшим удивление по Поводу выбранного им местожительства, а для моего детского, болезненно впечатлительного ума одним из главных достоинств было то, что задние окна нашей квартиры выходили на старинное и густо населенное кладбище. Часто по вечерам я тайком вылезал из-под одеяла и, забравшись на высокий дубовый ларь, стоявший под окном моей комнаты, со страхом смотрел вниз на старые серые могильные плиты, воображая, что крадущиеся между ними тени — это призраки, грязноватые привидения, которые утратили свою естественную белизну и от городского дыма стали тусклыми, подобно снегу, лежавшему порой между могил.

Я внушил себе, что это привидения, и в конце концов начал относиться к ним совсем по-дружески. Меня интересовало, что они думают, видя, как исчезают буквы их имен на могильных плитах, вспоминают ли о прошлом, желая быть снова живыми, или же чувствуют себя более счастливыми, чем при жизни. Но подобные мысли нагоняли еще большую грусть.

Как-то вечером, когда я сидел и смотрел в окно, я почувствовал прикосновение руки к моему плечу. Я не испугался, так как это была нежная и мягкая, хорошо знакомая мне рука, и просто прижался к ней щекою.

— Что делает здесь мой непослушный мальчик? Кто это удрал из кроватки? Кого сейчас мама нашлепает?

Но другая рука легла на мою щеку, и я ощутил, как мягкие локоны смешались с моими собственными.

— Я только посмотрю на привидения, мама, — отвечал я. — Их так

много там, внизу, — и потом добавил раздумчиво: — Интересно, как люди себя чувствуют, когда становятся привидениями?

Моя мать ничего не ответила, но взяла меня на руки и отнесла обратно в постель. Потом она села возле меня и, держа в руках мою руку, — они были почти одинаково маленькими, — стала напевать песенку тихим, ласковым голосом, который всегда вызывал у меня желание быть хорошим, — я с тех пор не слыхал этой песенки ни от кого, да и не хотел бы услышать.

Но, пока она пела, что-то упало мне на руку. Я сел в постели и потребовал, чтобы она показала мне свои глаза. Она засмеялась странным, надломленным смешком, как мне показалось, — сказав, что все это пустяки, и велела мне лежать тихо и спать. И я снова юркнул в постель и крепко закрыл глаза, но так и не мог понять, почему она плакала.

Бедная мамочка! Она придерживалась убеждения, основанного скорее на вере, чем на фактах и опыте, что все дети — сущие ангелы и что поэтому, на них необыкновенный спрос в тех краях, где ангелам всегда легче пристроиться к месту, и поэтому так трудно удержать детей в нашем бренном мире. Должно быть, в тот вечер мои слова о привидениях вызвали в этом безрассудно любящем сердце боль и смутный страх, и, боюсь, на много вечеров.

Позднее я часто ловил на себе ее пристальный взгляд. Особенно внимательно смотрела она на меня, когда я ел, и по мере того, как трапеза подвигалась к концу, на ее лице появлялось довольное выражение.

Однажды за обедом я услышал, как она шепнула отцу (дети вовсе не так глухи, как воображают родители):

— У него, кажется, неплохой аппетит!

— Аппетит! — ответил отец таким же громким, шепотом. — Если ему суждено умереть, то вовсе не от недостатка аппетита!

Моя бедная мамочка постепенно успокоилась и поверила в то, что мои братья-ангелы согласны еще некоторое время просуществовать без меня, а я, отрешившись от детства и кладбищенских причуд, с годами превратился во взрослого и перестал верить в привидения, как и во многое другое, во что человеку, пожалуй, лучше бы продолжать верить.

Но недавно воспоминание о запущенном кладбище и населявших его тенях снова ярко возникло в моей памяти и мне показалось, будто я сам привидение, скользящее вдоль тихих улиц, по которым когда-то я проходил быстро, полный жизни.

Роясь в давно не открывавшемся ящике письменного стола, я случайно извлек на свет запыленную рукопись, на коричневой обложке

которой была наклейка с надписью: «Заметки к роману». Страницы с загнутыми там и сям уголками пахли прошлым, и когда я раскрыл рукопись и положил ее перед собой, память вернулась к тем летним вечерам — не столь, быть может, давним, если вести счет только на года, но очень, очень отдаленным, если измерять время чувствами, когда, сидя вместе, создавали роман четыре друга, которым никогда больше уже не сидеть вместе. С каждой потрепанной страницей, которую я переворачивал, во мне росло неприятное ощущение, что я всего лишь призрак. Почерк был мой, но слова принадлежали кому-то другому, и, читая, я удивленно вопрошал себя: «Неужели я когда-то мог так думать? Неужто я собирался так поступить? Неужто я в самом деле надеялся на это? Разве я намеревался стать таким? Неужели молодому человеку жизнь представляется именно такою?» И я не знал, смеяться мне или горько вздыхать.

Книга представляла собою собрание разных записей: не то дневник, не то воспоминания. Она являлась результатом многих размышлений, многих бесед, и я, выбрав из них то, что мне показалось пригодным, кое-что добавив, изменив и переделав, составил главы, которые печатаются ниже.

Поступая таким образом, я нисколько не пошел против своей совести — а она у меня крайне щекотливая. Из четырех соавторов тот, кого я называю Мак-Шонесси, отказался от прав на что-либо, кроме шести футов опаленной солнцем земли в южноафриканских степях. У того, кто назван Брауном, я заимствовал весьма немногое, и это немногое я по справедливости, могу считать своим, так как я придал ему литературную форму. И разве, воспользовавшись некоторыми из его ничем не украшенных мыслей и приведя их в удобочитаемый вид, я не оказал ему услугу, отплатив добром за зло? Разве он, отрекшись от высоких честолюбивых замыслов молодости, не скатывался все ниже со ступеньки на ступеньку, пока не сделался критиком и, тем самым, естественно, моим врагом? Разве на страницах некоего журнала с большими претензиями, но малым тиражом, он не назвал меня Арри (опуская Г. о, подлый сатирик!), и разве его презрение к людям, говорящим по-английски, не основано главным образом на том, что некоторые из них читают мои книги? Однако в дни, когда мы жили в Блумсбери и на театральных премьерах сидели рядом в последних рядах партера, мы считали друг друга большими умниками.

От Джефсона у меня имеется письмо, присланное из фактории в глубине Квинсленда. «Делайте с рукописью все что угодно, дорогой мой, — говорится в письме, — только не путайте меня в это дело.

Благодарю за лестные для меня выражения, но, увы, не могу принять их. Писателя из меня никогда бы не получилось. К счастью, я обнаружил это вовремя. Со многими беднягами бывает не так. (Я имею в виду не Вас, старина. Мы с большим удовольствием читаем все, что Вы пишете. Зимою время тянется здесь ужасно долго, и мы почти всему рады.) Жизнь, которую я веду здесь, больше подходит мне. Мне нравится брать лошадь в шенкеля и чувствовать солнечные лучи на своей коже. И вокруг нас подрастают наши малыши, и надо следить за подручными и за скотом. Вам эта жизнь, вероятно, кажется очень обыденной, неинтеллектуальной, но меня она удовлетворяет больше, чем могло бы удовлетворить писание книг. Кроме того, на свете слишком много писателей. Все так заняты писанием и чтением, что не хватает времени думать. Вы, разумеется, возразите мне, что книга-воплощение мыслей, но это всего лишь газетная фраза. Вы убедились бы, как далеки от истины, если б Вы, старина, приехали сюда и по неделям, как это бывает со мною, проводили дни и ночи в обществе бессловесных быков и коров на поднявшемся над равниной затерянном острове, подпирающем высокое небо. То, что человек думает, — действительно думает, — остается в нем и прорастает в тишине. То, что человек пишет в книгах, — это мысли, которые ему хотелось бы навязать людям».

Бедняга Джефсон! Когда-то он казался многообещающим юношей. Но у него всегда были такие странные взгляды!

Дж. К. Дж.

Глава I

Вернувшись как-то вечером домой от моего друга Джефсона, я сообщил жене, что собираюсь писать роман. Она одобрила мое намерение и заявила, что нередко удивлялась, почему я раньше не подумал об этом. «Вспомни, — добавила она, — как скучны все нынешние романы; не сомневаюсь, что ты мог бы написать что-нибудь в этом роде». (Этельберта несомненно хотела польстить мне, но она всегда так небрежно выражает свои мысли, что смысл их бывает непонятен.)

Однако когда я сказал ей, что мой друг Джефсон будет сотрудничать со мной, она воскликнула «о!» и в ее возгласе прозвучало сомнение; когда же я добавил, что Селкирк Браун и Деррик Мак-Шонесси тоже будут принимать в этом участие, она повторила свое «о!» тоном, в котором уже не звучало ни малейшего сомнения: из него явствовало, что ее интерес к возможности осуществления этого замысла полностью улетучился.

Мне думается, надежда на успех нашего предприятия несколько умалялась в глазах Этельберты тем обстоятельством, что три моих соавтора были холостяками. В ней очень сильно предубеждение против холостяков, как таковых. Мужчина, у которого не хватает ума, чтобы стремиться к браку, или же тот, кто, желая вступить в брак, не обладает достаточной сообразительностью, чтобы осуществить свое намерение, либо слаб интеллектом, либо по природе порочен; первая особенность делает человека неспособным, а вторая непригодным к роли полезного соавтора.

Я попытался втолковать Этельберте необычайные преимущества нашего плана.

— Видишь ли, — пояснил я, — в рядовом романе читатель фактически получает мысли одного человека. А над Нашим романом будут работать сообща четыре умных человека. Это даст публике возможность ознакомиться с мыслями и мнениями всех четырех, уплатив цену, которую обычно спрашивают за изложение взглядов одного автора. Если английский читатель понимает свою выгоду, он заранее подпишется на нашу книгу, чтобы не пожалеть потом. Подобный случай может не представиться в течение многих лет.

С последним соображением Этельберта охотно согласилась.

— К тому же, — продолжал я, и мой энтузиазм вырастал по мере того, как я развивал эту тему, — наше произведение будет поистине выгодным

делом и в другом отношении. Мы не собираемся вкладывать в него повседневные заурядные мысли. Мы наполним этот единственный в своем роде роман всеми идеями и остроумными мыслями, которыми мы обладаем, если только книга будет в состоянии вместить их. Мы не станем больше писать романов. По сути, мы и не будем в состоянии сделать это, — нам больше не о чем будет писать. Наше творение явится чем-то вроде интеллектуальной распродажи. Мы попросту вложим в этот роман все что знаем.

Этельберта поджала губы и пробормотала что-то, а потом заметила вслух, что, как она предполагает, больше одного тома нам и не создать.

Я почувствовал себя оскорбленным скрытой насмешкой. Я указал ей, что уже существует многочисленный отряд специально обученных людей, занятых исключительно высказыванием неприятных мыслей по адресу писателей и их произведении, — обязанность, с которой они, насколько я могу судить, вполне в состоянии справиться без помощи представителей самодеятельности. И я намекнул, что у собственного домашнего очага писатель мог бы рассчитывать на более дружественную атмосферу.

Этельберта ответила, что я, разумеется, понимаю, что именно она хотела сказать. По ее словам, она имела в виду не меня и не Джефсона, ибо Джефсон, несомненно, достаточно разумный человек (Джефсон обручен), однако она не видит оснований привлекать к этому делу половину нашего прихода. (Никто и не думал привлекать «половину прихода»! Этельберта любит впадать в крайности.) Она не в состоянии представить себе, что Браун и и Мак-Шонесси могут вообще принести какую-либо пользу. Что могут знать два закоренелых холостяка о жизни и человеческой природе? В частности, о Мак-Шонесси она была того мнения, что если нам удастся засадить его за работу, с целью выжать из него все, в чем он сведущ, то в результате наберется не более одной страницы.

Нынешняя оценка моей женою познаний Мак-Шонесси является следствием пережитого ею разочарования. Когда я их познакомил, они сразу стали на дружескую ногу. После того как, проводив его до выхода, я вернулся в гостиную, первые слова моей жены были: «Какой замечательный человек этот мистер Мак-Шонесси. Кажется, нет таких вещей, которых он не знает!»

Эти слова дают точное представление о Мак-Шонесси. Действительно, всем кажется, что он знает ужасно много. Я не встречался с человеком, у которого был бы больший запас самых разнообразных сведений, чем у него. Иногда эти сведения оказываются верными, но, вообще говоря, они отличаются изумительной ненадежностью. Откуда он

черпает их — тайна, в которую никому не удалось проникнуть.

Этельберта была еще очень молода, когда мы начали самостоятельно вести хозяйство. (Наш первый мясник, назвав ее «мисси» и предложив ей в следующий раз явиться со своей маменькой, едва не лишился покупательницы: она пришла ко мне в слезах и сказала, что, может быть, и не годится в жены, но не понимает, кто дал лавочникам право говорить ей подобные вещи.) Вполне естественно, что, не имея опыта в хозяйственных делах и глубоко переживая это, она была искренне благодарна всякому, кто давал ей полезные советы и указания. Когда к нам приходил Мак-Шонесси, он казался ей чем-то вроде прославленной миссис Битон. Он знал все, что может понадобиться в домашнем обиходе, от научных методов чистки картофеля до лечения судорог у кошек, и Этельберта, выражаясь фигурально, преклонялась перед ним и за один вечер приобретала столько сведений, что наш дом на целый месяц делался непригодным для жилья.

Однажды он рассказал ей, как разжигать огонь в плите. Он утверждал, что тот способ, каким обычно разжигают огонь в нашей стране, противоречит всем законам природы, и объяснил, как поступают крымские татары или их сородичи, которые одни владеют подлинной наукой разжигания огня. Он доказал Этельберте, что, применяя крымско-татарский способ, можно достигнуть огромной экономии времени и труда, не говоря уже об угле, и он научил ее этому способу, а она сразу же спустилась в кухню и растолковала его нашей служанке.

Аменда в те дни наша единственная прислуга — была крайне невозмутимой молодой особой и, в некоторых отношениях, образцовой служанкой. Она никогда не возражала. Казалось, у нее нет ни о чем собственного мнения. Она принимала наши распоряжения без комментариев и выполняла их с педантичной точностью и явным отсутствием чувства ответственности за результаты. Это вносило в наше домашнее законодательство атмосферу воинской дисциплины.

На этот раз она спокойно слушала, пока ей разъясняли изложенный Мак-Шонесси способ разжигания огня. Когда Этельберта кончила, Аменда просто спросила:

— Вы хотите, чтобы я разжигала огонь этим способом?

— Да, Аменда, отныне всегда разжигайте огонь этим способом, прошу вас.

— Хорошо, мэм, — ответила Аменда с полным равнодушием, и в тот вечер на этом дело кончилось.

Войдя в столовую на следующее утро, мы нашли стол очень мило сервированным, но завтрака на нем не было. Мы стали ждать. Прошло

десять минут, четверть часа, двадцать минут. Тогда Этельберта позвонила. В ответ на звонок явилась Аменда, спокойная и почтительная.

— Известно ли вам, что завтрак нужно подавать к половине девятого, Аменда?

— Известно, мэм.

— А известно ли вам, что теперь уже почти девять часов?

— Да, мэм.

— Так что же, завтрак еще не готов?

— Нет, мэм.

— А он будет готов когда-нибудь?

— По правде сказать, — ответила Аменда задушевно-откровенным тоном, — не думаю, чтобы он изготовился.

— В чем же дело? Уголь не загорается?

— Да нет. Загораться-то он загорается. — Почему же вы не готовите завтрак?

— Потому что стоит мне отвернуться, как он гаснет. Аменда никогда не высказывалась по собственному побуждению. Она отвечала на заданный вопрос и тут же умолкала. Не будучи еще знаком с этим ее свойством, я как-то крикнул ей вниз на кухню и спросил, знает ли она, который час. Она ответила: «Да, сэр», — и скрылась в глубине кухни. Спустя полминуты я снова обратился к ней. «Аменда, минут десять тому назад я вас просил, — с укоризной заявил я, — сказать мне, который час». — «Неужто? — любезно ответила она. — Простите, пожалуйста. А я подумала, что вы просто спрашиваете меня, знаю ли я, который час. Теперь половина пятого».

Но вернемся к вопросу о завтраке. Этельберта спросила, пробовала ли Аменда еще раз разжечь огонь.

— О да, мэм, — отвечала служанка. — Я пробовала четыре раза. — Потом она бодро добавила: — Я попробую еще раз, если вам угодно, мэм.

Аменда была самой покладистой служанкой из всех, кому мы когда-либо платили жалованье.

Этельберта заявила, что намерена сама спуститься на кухню, чтобы развести огонь, и велела Аменде следовать за нею и наблюдать. Эксперимент заинтересовал меня; я тоже последовал за ними. Этельберта подоткнула подол и принялась за дело. Аменда и я стояли рядом.

Спустя полчаса Этельберта — раскрасневшаяся от жары, измазанная и несколько обозленная отказалась от борьбы. Плита же по-прежнему сохраняла цинично холодный вид, с которым приветствовала наше появление.

Тогда сделал попытку я. Старался я изо всех сил. Я горел желанием добиться успеха. Прежде всего, мне хотелось позавтракать. Во-вторых, я хотел иметь право говорить: «А у меня вышло!» Мне казалось, что всякий человек вправе гордиться, если ему удастся разжечь огонь, когда топливо уложено таким образом. Разжечь огонь в плите даже при обычных обстоятельствах отнюдь не легкое дело. А разжечь его, строго придерживаясь правил Мак-Шонесси, казалось мне подвигом, о котором приятно будет вспомнить. Я мечтал — если только мне удастся добиться успеха — обойти соседей и похвастаться перед ними.

Однако успеха я не достиг. Я поджег многое, включая кухонный коврик и кошку, которая вертелась поблизости и что-то вынюхивала, но топливо внутри плиты казалось огнеупорным.

Этельберта и я, присев по обе стороны нашего безрадостного очага, глядели друг на друга и думали о Мак-Шонесси, пока Аменда не развеяла наше отчаянье одним из обычных для нее практических советов, которые она изрекала при случае, предоставляя нам принимать их или отвергать.

— Может быть, — спросила она, — разжечь огонь старым способом, хотя бы сегодня?

— Прошу вас, Аменда, — сказала Этельберта, вставая. — И, пожалуйста, — прибавила она, — всегда разжигайте его старым способом.

В другой раз Мак-Шонесси показал нам, как готовят кофе по-арабски. Аравия, должно быть, крайне неопрятная страна, если там часто готовят кофе таким образом. Он загрязнил две кастрюли, три миски, одну скатерть, одну терку для мускатных орехов, один коврик перед камином, три чашки и испачкался сам. А ведь он варил кофе на двоих, — страшно подумать, сколько бы он перепортил добра, если бы готовил его для многочисленных гостей.

То обстоятельство, что кофе не понравился нам, Мак-Шонесси приписал нашим вкусам, огрубевшим в результате того, что мы долго пробавлялись низкопробным кофе. Он сам выпил обе чашки, а потом вынужден был уехать домой в кебе.

В то время, помнится, у него была тетушка — таинственная старая дама, проживавшая в каком-то уединенном месте, откуда она насылала неисчислимые беды на друзей Мак-Шонесси. То, чего Мак-Шонесси не знал сам (в одном-двух вопросах он не считал себя авторитетом), было известно его тетке. «Нет, — говаривал он с очаровательной искренностью, — в этом вопросе сам я ничего не могу вам посоветовать. Я напишу тетушке и спрошу у нее». И спустя день или два снова появлялся и приносил совет тетушки, и, если вы были молоды и неопытны или отроду

слабоумны, вы следовали этому совету.

Однажды тетушка прислала нам через Мак-Шонесси рецепт, как морить тараканов. Мы жили в весьма живописном старом доме, но, подобно большинству живописных старых домов, привлекательным был в нем только фасад. В самом доме было множество дыр, трещин и щелей. Лягушки, сбившись с пути и свернув не за тот угол, попадали в нашу столовую и, по-видимому, бывали удивлены и недовольны не меньше нас. Многочисленный отряд крыс и мышей, на редкость пристрастных к акробатике, превратил наше жилище в гимнастический зал, а наша кухня после десяти часов вечера становилась тараканьим клубом. Тараканы вылезали из-под пола, проникали сквозь стены и безмятежно резвились до самого рассвета.

Против мышей и крыс Аменда ничего не имела. Она утверждала, что ей нравится следить за их играми. Но к тараканам она питала предубеждение. Поэтому, когда жена сообщила ей, что тетка Мак-Шонесси, прислала верный рецепт для их уничтожения, Аменда возликовала.

Мы приобрели все необходимое, замесили снадобье и разложили по углам. Тараканы пришли и сожрали его. Оно им, видимо, понравилось. Они уничтожили все до крошки, и их явно раздосадовало, что запас кончился. Но они и не думали умирать.

Мы сообщили об этом Мак-Шонесси. Он мрачно улыбнулся и тихо, но многозначительно сказал: «Пусть едят!»

Очевидно, это был один из коварных, медленно действующих ядов. Он не убивал тараканов сразу, а подтачивал их здоровье. День ото дня тараканы будут слабеть и чахнуть, сами не понимая, что происходит с ними, пока однажды утром, войдя в кухню, мы не найдем их бездыханными и неподвижными.

Поэтому мы наготовили побольше отравы и каждый вечер раскладывали ее повсюду, а тараканы со всего прихода устремлялись к ней. Что ни вечер, их приходило все больше и больше. Они приводили друзей и родственников. Чужие тараканы-тараканы из других домов, не имевшие на нас никаких прав, — прослышав об угощении, стали являться целыми ордами и грабили наших тараканов. К концу недели в нашей кухне собрались все тараканы, проживающие на много миль вокруг, кроме инвалидов, не способных передвигаться.

Мак-Шонесси утверждал, что все идет хорошо и мы одним махом очистим весь пригород. После того как тараканы уже целых десять дней питались отравой, он сказал, что конец недалек. Я обрадовался, так как это

неограниченное гостеприимство начинало казаться мне разорительным. Яд обходился очень дорого, а они были превосходными едоками.

Мы спустились в кухню посмотреть, как чувствуют себя тараканы. По мнению Мак-Шонесси, у них был немощный вид и они находились при последнем издыхании, но я могу лишь сказать, что никогда еще не видел более здоровых тараканов, да и не хотел бы видеть.

Правда, вечером один из них скончался. Мы видели, как он пытался удрать, захватив непомерно большую порцию яда, и тогда трое или четверо других яростно напали на него и убили.

Насколько мне известно, этот таракан был единственным, для кого рецепт Мак-Шонесси оказался роковым. Остальные только жирели и лоснились. Некоторые даже начали приобретать округлые формы. В конце концов мы перешли на обычные средства, приобретенные в керосиновой лавке, и с их помощью несколько уменьшили тараканьи ряды. Однако, привлеченные ядом Мак-Шонесси, они в таком количестве поселились в доме, что окончательно вывести их было уже невозможно.

С тех пор больше я не слыхал про тетку Мак-Шонесси. Возможно, кто-либо из его ближайших друзей узнал теткин адрес, поехал и прикончил ее. Если это так, мне хочется выразить ему благодарность.

Недавно я сделал попытку излечить Мак-Шонесси от его роковой страсти давать советы и пересказал ему весьма печальную историю, услышанную от джентльмена, с которым я познакомился в Америке в вагоне поезда. Это было на пути из Буффало в Нью-Йорк. Мне внезапно пришло в голову, что мое путешествие может оказаться куда более интересным, если я сойду с поезда в Олбани и проеду остальное расстояние водой. Но я не знал пароходного расписания, а путеводителя у меня с собой не было. Я поискал глазами, у кого можно было бы осведомиться. У соседнего стола сидел добродушного вида пожилой джентльмен и читал книгу, обложка которой была мне знакома. Он показался мне интеллигентным человеком, и я обратился к нему.

«Простите, что потревожил вас, — сказал я, садясь напротив. — Не могли бы вы сообщить мне некоторые сведения относительно пароходов, курсирующих между Олбани и Нью-Йорком?»

«Пожалуйста, — отвечал он, взглянув на меня с приятной улыбкой. — Имеются три пароходные линии. Первая — компания Хеггарти, но ее пароходы идут только до Кэтскилла. Потом имеются пароходы компании Паукипси, отправляющиеся через день. И затем есть пароход, — который курсирует по каналу ежедневно».

«В самом деле! — воскликнул я. — А теперь скажите, на каком из них

вы посоветуете мне…»

Он с воплем вскочил, и глаза его сверкнули, точно он хотел испепелить меня взглядом.

«Ах ты негодяй, — произнес он тихо, задыхаясь от сдерживаемой ярости, — так вот какую игру ты затеял! Сейчас ты получишь от меня такое, что заставит тебя действительно просить совета». И он выхватил шестизарядный револьвер.

Я был неприятно поражен. Я чувствовал, что если попытаюсь продолжить беседу, то могу быть поражен по-настоящему. Поэтому, не говоря ни слова, я отошел и перекочевал в другой конец вагона, где занял место между толстой дамой и дверью.

Все еще продолжая размышлять об этом инциденте, я вдруг увидел, что мой пожилой джентльмен направляется ко мне. Я вскочил и ухватился за дверную ручку. Нельзя было позволить ему застать меня врасплох. Но он успокоительно улыбнулся и протянул мне руку.

«Мне не дает покоя мысль, — сказал он, — что я обошелся с вами несколько резко. Хотелось бы, с вашего разрешения, объяснить вам, в чем дело. Думаю, что, выслушав меня, вы поймете и простите».

В нем было что-то, внушающее доверие. Мы разыскали тихий угол в вагоне для курящих. Я взял себе виски, а он заказал какую-то смесь собственного изобретения. Потом мы закурили сигары, и он начал свой рассказ.

«Тридцать лет тому назад я был молодым человеком, у меня была здоровая вера в собственные силы и желание делать добро другим. Я отнюдь не воображал себя гением и даже не считал себя блестяще одаренным. Но мне казалось — и чем больше я наблюдал поступки окружающих, тем больше я убеждался в этом, — что я в незаурядной степени наделен простым практическим здравым смыслом. Осознав это, я написал небольшую книжку, озаглавленную „Как стать здоровым, богатым и мудрым“, и напечатал ее на собственный счет. Я не стремился к выгоде. Я просто желал быть полезным людям.

Книга не произвела того впечатления, на какое я рассчитывал. После того как было продано две или три сотни экземпляров, ее перестали покупать.

Признаюсь, я сначала огорчился, но немного погодя решил, что, если люди не желают принимать моих советов, в убытке будут только они, а не я, и перестал об этом думать.

Прошло около года, и как-то утром ко мне в кабинет вошла служанка и доложила, что меня желают видеть. Я приказал ввести посетителя, что и

было выполнено. Это был простой человек с открытым, умным лицом и весьма почтительными манерами. Я предложил ему кресло, Он предпочел стул и уселся на краешек.

«Надеюсь, вы простите мое вторжение, сэр, — начал он, старательно подбирая слова и теребя свою шляпу, — но — я проехал больше двухсот миль, чтобы повидать вас, сэр!» Я сказал, что мне это приятно слышать, и он продолжал:

«Мне сообщили, сэр, что вы тот самый джентльмен, который написал книжку „Как стать здоровым, богатым и мудрым“. — Он произнес все три слова медленно, любовно задерживаясь на каждом из них.

Я подтвердил, что это действительно так. «О, это замечательная книга, сэр! — продолжал он. — Я не из тех, у кого много своего ума, сэр, но у меня его достаточно, чтобы понять, у кого он имеется, и когда я прочел эту книжечку, я сказал себе: „Джосайя Хэкетт (так зовут меня, сэр), если ты сомневаешься в чем-нибудь, не полагайся на свою тупую башку, она не подскажет тебе ничего хорошего, отправляйся к джентльмену, который написал эту книжку, и попроси у него совета. Он добрый джентльмен — это видно по всему — и не откажет тебе, а получив совет, двигайся полным ходом вперед без всяких остановок. Уж он-то знает, что для тебя лучше, да и не только для тебя, а для любого человека“. Вот так я сказал себе, сэр, и вот почему я здесь».

Он умолк и вытер лоб зеленым носовым платком. Я просил его продолжать.

Выяснилось, что этот достойный человек собирается жениться, но не может решить, на ком остановить свой выбор. Он нацелился — так он выразился — на двух девушек, и имеет основания полагать, что обе отвечают ему более чем обычной, благосклонностью. Его затруднял выбор: обе были превосходными и достойными девицами, но как знать, которая из двух окажется для него лучшей женой. Одна из них — Джулиана, единственная дочь капитана дальнего плавания в отставке, — была, по его словам, прелестной девушкой. Другая, Ганна, казалась более домовитой и была старшей дочерью в большой семье. Ее отец — сказал он — богобоязненный человек, преуспевающий лесоторговец. В заключение Хэкетт попросил меня помочь ему выбрать жену.

Я чувствовал себя польщенным. Кто в моем положении не был бы польщен? Этот Джосайя Хэкетт приехал издалека, чтобы внимать моей мудрости. Он намеревался — нет, он жаждал — доверить моему выбору счастье всей жизни. Я нисколько не сомневался, что он поступил мудро. Выбор жены я всегда почитал делом, требующим спокойного, твердого

суждения, на которое влюбленный не способен. В подобном случае я без колебаний готов был дать совет даже мудрейшему из людей. А отказать в совете этому бедному, простодушному человеку я счел бы просто жестокостью.

Джосайя вручил мне фотографии обеих молодых особ. На обороте каждой из фотографий я записал сведения, способные, на мой взгляд, помочь при определении их соотносительной пригодности для занятия того вакантного места, о коем шла речь, и пообещал, внимательно изучив вопрос, написать Джосайе через день или два.

Он трогательно поблагодарил меня.

«Не утруждайте себя писаньем писем, сэр, — заявил он, — а просто черкните на листке бумаги „Джулиана“ или „Ганна“ и суньте его в конверт. Я буду знать, что это означает, и женюсь согласно вашему выбору».

Крепко пожав мне руку, он ушел.

Я долго раздумывал над выбором жены для Джосайи. Я искренне желал ему счастья.

Джулиана, несомненно, была прехорошенькая. В уголках ее рта таился игривый задор; казалось, еще секунда — и она звонко рассмеется. Если бы я действовал по первому впечатлению, я толкнул бы Джулиану в объятия Джосайи.

«Но, — размышлял я, — в жене ищут более высокие качества, нежели игривость и миловидность. Хотя Ганна и не столь прелестна, она, по-видимому, обладает энергией и здравым смыслом — качествами, весьма необходимыми для супруги бедного человека. Отец Ганны человек набожный и „преуспевающий“, — он, наверно, бережлив и расчетлив. Он, несомненно, воспитал дочь экономной и добродетельной, а позднее она, возможно, получит кое-что в наследство. Она — старшая в большой семье. Ей, наверно, приходится немало помогать матери. У нее должен быть опыт и в ведении хозяйства и в воспитании детей».

С другой стороны, отец Джулианы — капитан дальнего плавания в отставке. Моряки — народ распущенный. Он, весьма вероятно, расхаживает по дому, непристойно выражаясь и высказывая взгляды, которые могли отрицательно повлиять на формирование характера подрастающей девочки. Джулиана — его единственный ребенок. Единственные дети обычно бывают плохими мужьями и женами. Их слишком балуют. Хорошенькая дочка капитана дальнего плавания в отставке, вероятно, очень испорчена.

Джосайя — и это нельзя забывать — явно слабохарактерен. Он нуждается в том, чтобы им руководили. А глаза Ганны красноречиво

говорят о том, что она в состоянии руководить.

По истечении двух дней я принял решение. На листке бумаги я написал «Ганна» и отослал письмо.

Спустя две недели я получил ответ от Джосайи. Он благодарил за совет, хотя мимоходом выражал сожаление, что я не счел возможным выбрать Джулиану. Однако, по его словам, он чувствует, что мне виднее. К тому времени, когда я получу это письмо, они с Ганной уже соединятся.

Письмо встревожило меня. Я стал сомневаться, правилен ли мой выбор. А вдруг Ганна совсем не такова, как я воображал! До чего это ужасно для Джосайи! Разве у меня было достаточно сведений, чтобы строить умозаключения? Как знать, а вдруг Ганна ленива и сварлива? А вдруг она торчит, подобно занозе, в боку своей бедной, изможденной трудами матери и докучает, как чирей, своим младшим братьям и сестрам? Откуда мне известно, что она хорошо воспитана? Ее отец, быть может, ловкий старый мошенник, таковые все те, кто особенно старается казаться набожным. От него она могла унаследовать только ханжество.

И откуда я мог знать, что ребячливая игривость Джулианы не превратится с годами в нежную и жизнерадостную женственность? Возможно, ее отец, в противоположность всему, что я знал, примерный капитан дальнего плавания в отставке; может быть, у него имеется надежно помещенный кругленький капиталец, а Джулиана — его единственная наследница. Какие же у меня были основания отвергать любовь этого прелестного юного создания к Джосайе?

Я достал из письменного стола фотографию Джулианы. Ее большие глаза смотрели на меня с укоризной. Я представил себе, что произошло в маленьком далеком домике, когда первые жестокие слухи о женитьбе Джосайи, подобно булыжнику, упали в мирную заводь ее жизни. Я уже видел, как она стоит на коленях возле кресла своего отца, а седовласый старик с обветренным суровым лицом нежно гладит ее золотистую головку, как молчаливые рыданья сотрясают ее и она прижимается к его груди. Совесть мучила меня нестерпимо.

Отложив эту карточку, я взял фотографию Ганны — моей избранницы. Мне показалось, что она смотрит на меня с бессердечной торжествующей улыбкой. Мною постепенно начало овладевать отвращение к Ганне.

Я гнал это чувство. Я твердил себе, что это предубеждение. Но чем больше я боролся против этого чувства, тем сильнее оно становилось. Можно сказать, по мере того как шли дни, антипатия превращалась во враждебность, враждебность — в ненависть. И такую женщину я

сознательно выбрал для Джосайи спутницей жизни!

Несколько дней я не знал покоя. Я страшился вскрыть любое письмо, опасаясь, что оно от Джосайи. При каждом стуке в дверь я вскакивал, ища, где бы спрятаться. Всякий раз, когда мне попадался в газетах заголовок «Семейная драма», я покрывался холодным потом: я страшился прочесть, что Джосайя и Ганна убили друг друга и умерли, проклиная меня.

Однако время шло, а я не получал никаких известий. Мои страхи начали утихать, и вера в правильность моего интуитивного решения возрождалась. Быть может, я сделал доброе дело для Джосайи и Ганны и они благословляют меня. Мирно протекли три года, и я начал забывать о существовании Хэкетта.

Потом он снова появился. Как-то вечером, вернувшись домой, я нашел его в прихожей. При первом взгляде я понял, что мои худшие предположения недалеки от истины. Я пригласил его пройти в кабинет. Он последовал за мной и уселся на тот же стул, где сидел три года назад.

Он сильно изменился, казался измученным и старым. Держался он как человек, потерявший всякую надежду, но решивший не роптать.

Некоторое время мы молчали. Он вертел в руках шляпу, как при нашей первой встрече, а я делал вид, будто привожу в порядок бумаги на письменном столе. Наконец, чувствуя, что это молчание невыносимо, я повернулся к нему.

«Боюсь, Джосайя, дела у вас не ладятся», — сказал я.

«Нет, сэр, — спокойно отвечал он, — этого нельзя сказать. Правда, ваша Ганна сказалась изрядной пилой».

В его тоне не было и следа укоризны. Он попросту констатировал печальный факт.

«Но в других отношениях она оказалась вам хорошей женой, — настаивал я. — У нее, разумеется, имеются свои недостатки, но у кого их нет? Зато она энергична. Послушайте, вы признаете, что она энергична?»

Ради собственного спокойствия мне было необходимо. найти хоть что-нибудь хорошее в Ганне, а ничего другого я в ту минуту не мог придумать.

«О да, энергии у нее действительно хватает, — согласился Джосайя. — Даже с избытком для такого небольшого дома, как наш. Дело в том, — продолжал он, — что Ганна иногда входит в раж, да и с ее матерью нелегко ладить».

«С ее матерью? — воскликнул я. — А она-то при чем?»

«Видите ли, сэр, — ответил он, — она живет с нами с тех пор, как старик отдал концы».

«Отец Ганны? Неужели он умер?»

«Ну, не совсем, сэр, — ответил Джосайя. — Он удрал около года тому назад с одной из тех молодых женщин, которые преподают в воскресной школе, и присоединился к мормонам. Все были крайне удивлены этим».

Я вздохнул.

«А его предприятие, — осведомился я, — торговля лесными материалами? Кто стоит во главе дела?»

«Дело пришлось ликвидировать, — ответил Джосайя, — чтобы уплатить долги отца или хотя бы покрыть часть их».

Я сказал, что это, вероятно, было ужасным ударом для семьи, и выразил предположение, что семья распалась и ее члены разбрелись кто куда.

«Нет, сэр, — просто ответил он, — они не разбрелись, они все живут с нами».

«Но все это, — продолжал он, увидев выражение моего лица, — не имеет, разумеется, никакого отношения к вам, сэр. У вас, смею сказать, достаточно собственных забот. Я явился сюда не затем, чтобы тревожить вас моими горестями. Это значило бы отплатить неблагодарностью за вашу доброту!»

«А какова судьба Джулианы?» — спросил я. Мне больше не хотелось спрашивать об его собственных делах.

Его лицо, до сих пор унылое, озарилось улыбкой.

«О, — воскликнул он, повеселев, — вспомнишь о ней, и сразу на душе легче делается! Она вышла замуж за одного из моих приятелей, Сэма Джессопа. Время от времени, когда Ганны нет поблизости, я вырываюсь из дому и забегаю к ним! Господи! Посмотришь, как они живут, и кажется, что заглянул в рай! Сэм часто подтрунивает надо мной и все приговаривает: „Ну и маху же ты дал, Джосайя!“ Мы с ним старые друзья, сэр, мы с Сэмом, а потому пусть он подшучивает, — я ничего против не имею».

Потом улыбка исчезла с его лица, и он прибавил со вздохом:

«Да, с тех пор я не раз думал, как было бы чудесно, если бы вы тогда сочли возможным посоветовать мне жениться на Джулиане».

Я чувствовал, что обязан во что вы то ни стало вернуть его мысли к Ганне, и сказал:

«Вы с женой, вероятно, живете на прежнем месте?»

«Да, — ответил он, — если можно назвать это жизнью. Очень уж туго нам приходится. Семья-то у нас теперь большая».

И он рассказал, что не знает, как ему удалось бы сводить концы с концами, не будь помощи отца Джулианы. Капитан, по его словам,

настоящий ангел. Во всяком случае, Джосайя не встречал людей, более похожих на ангелов, чем этот старик.

«Видите ли, сэр, я не скажу, чтобы он принадлежал к числу таких умных людей, как вы, — пояснил он, — он не из тех, к кому обращаются за советами, но он очень хороший человек».

«И это напомнило мне, сэр, — продолжал он, — о том, зачем я пришел к вам. Вы наверно сочтете это дерзостью с моей стороны, сэр, но…»

Тут я прервал его.

«Джосайя, — сказал я, — возможно, я заслуживаю порицания за то, что произошло с вами. Вы просили у меня совета, и я дал его вам. Не станем спорить, кто из нас был в большей степени идиотом. Но я дал вам совет, а я не такой человек, который отказывается от ответственности. Все, о чем вы меня попросите, я сделаю для вас, если только это в моих силах».

Джосайя был преисполнен благодарности. «Я и не сомневался в этом, сэр, — воскликнул он, — я знал, что вы не откажете мне! Я так и заявил Ганне. Я сказал ей: „Съезжу-ка я к тому джентльмену и попрошу у него совета“.

«Попрошу чего?» — переспросил я.

«Совета, — повторил Джосайя, явно удивленный моим тоном, — совета по одному небольшому вопросу, который я сам не могу решить».

Сначала я думал, что он хочет посмеяться надо мной, однако это было не так. Он сидел на стуле и добивался от меня совета, что именно ему следует приобрести на тысячу долларов, которую дал ему в долг отец Джулианы, — прачечное заведение или бар. Ему, видите ли, было мало одного раза, — он хотел, чтобы я снова дал ему совет, и замучил меня, доказывая, почему я должен это сделать. Выбор жены совсем другой вопрос, — уверял он. Возможно, ему не следовало спрашивать у меня совета относительно женитьбы. Но деловой человек, несомненно, может дать совет, какое из двух предприятий лучше выбрать. Джосайя сказал, что недавно перечел мою книжечку «Как стать здоровым» и т.д., и если окажется, что джентльмен, написавший эту книгу, не в состоянии оценить сравнительные достоинства прачечной и бара, расположенных в одном и том же городе, то ему, Джосайе, остается только заявить: знания и мудрость явно не имеют никакого практического значения в этом мире.

Мне показалось нетрудным делом дать ему такой совет. Разумеется, в торговых предприятиях деловой человек, каким я себя считал, должен разбираться несравненно лучше, чем этот простодушный ягненок. Было бы бессердечно отказать ему в помощи. Я обещал разобраться и сообщить свое мнение. Он встал и пожал мне руку. Он сказал, что не станет пытаться

благодарить меня: для этого нет слов. Он смахнул с глаз слезу и ушел.

Это ничтожное капиталовложение в тысячу долларов потребовало от меня стольких мозговых усилий, сколько понадобилось бы, чтобы учредить банк. Я не желал снова влипнуть, как в тот раз-с Ганной, если имелась малейшая возможность избежать ошибки. Я изучил документы, которые Джосайя оставил мне, но не мог на их основании составить определенное мнение. Тогда я выехал в город, где жил Джосайя, и там исподволь ознакомился с обоими предприятиями. Я тайно, внимательнейшим образом обследовал соседние кварталы. Прикидываясь молодым простачком, у которого завелись кое-какие деньги, я втерся в доверие к слугам. Я учинил опрос половины жителей города под тем предлогом, будто пишу историю торговли в Новой Англии и мне необходимо узнать все подробности их деятельности и жизни. Эти беседы я неизменно заканчивал вопросом, какой бар они предпочитают и куда отдают стирать белье. В городе я пробыл около двух недель. Большую часть свободного времени я проводил в баре и намеренно запачкал платье, чтобы отдать его в прачечную.

Взвесив полученные сведения, я решил, что оба предприятия равноценны. Речь могла идти только о том, какая деятельность более подходит Джосайе.

Я стал размышлять. Владелец бара подвержен всяким соблазнам. Слабохарактерный человек, постоянно находясь в обществе пьяниц, легко может спиться. А Джосайя — необычайно слабохарактерен. Нельзя также забывать, что у него сварливая жена и вся ее семья живет вместе с ними. Предоставить Джосайе неограниченный доступ к спиртным напиткам было бы безумием.

Напротив, мысль о прачечной вызывала представление о спокойной размеренной жизни. Прачечная требует много рабочих рук. Родственников Ганны можно заставить работать, чтобы они не ели хлеб даром. Ганна сумеет применить свою энергию, орудуя утюгом, а Джосайя может катать белье. В моем сознании возникла идиллическая картина домашнего счастья. Я порекомендовал Хэкетту приобрести прачечную.

В следующий понедельник Джосайя известил меня письмом, что последовал моему совету. Во вторник я прочел в «Коммершл Интеллидженс» об одном из поразительных знамений нашего времени — необычайном росте доходности гостиниц и баров по всей Новой Англии. А в четверг в описке банкротов я обнаружил не менее четырех владельцев прачечных. Газета поясняла, что вследствие чрезвычайно усилившейся конкуренции со стороны китайских прачечных многие американские

прачечные заведения буквально находятся на краю гибели. Я ушел из дому и напился.

Жизнь стала для меня проклятьем. Целые дни я думал о Джосайе. По ночам он снился мне. Неужели я, не довольствуясь тем, что оказался причиной его неудачной женитьбы, лишил его теперь возможности добывать средства ж существованию и свел на нет щедрую помощь старого добряка-капитана? Самому себе я уже рисовался злым демоном, неизменно преследующим простого, но достойного человека.

Однако время шло. Джосайя не давал знать о себе, и тяжелый груз свалился наконец с моей совести. Но через пять лет Джосайя пришел снова.

Он появился за моей спиной, когда я открывал входную дверь, и дрожащей рукой коснулся моего плеча. Ночь была темная, но в свете газового фонаря я разглядел лицо. Я узнал Джосайю, несмотря на красные пятна и мутную пелену, затянувшую его глаза, грубо схватил за руку я потащил наверх, в кабинет.

«Садитесь, — прошипел я, — и сразу выкладывайте все самое худшее».

Он уже собрался было сесть (на свой излюбленный стул. Я почувствовал, что если в третий раз увижу его на этом стуле, то сотворю с обоими что-нибудь ужасное. Я вышиб из-под него стул, Джосайя шлепнулся на пол и разразился слезами. Сидя на полу, он, всхлипывая, изломил мне события своей жизни.

Дела прачечной шли как нельзя хуже. К городу подвели новую железнодорожную линию, что изменило его топографию. Деловой центр и жилые кварталы переместились к северу. Бар-тот бар, который я отверг ради прачечной, — теперь оказался в центре торговых кварталов. Новый владелец — не Джосайя, разумеется, — продал бар н разбогател. Выяснилось, что южная часть города (где находилась прачечная) построена на болоте, а постройки не отвечают санитарным правилам. Поэтому осторожные домашние хозяйки перестали отдавать белье в прачечную, находящуюся в этом районе.

Случились и другие беды. Ребеночек — любимый сын, единственная радость его жизни, — упал в чан и умер от ожогов. Несчастный случай с катком превратил мать Ганны в беспомощную калеку, и за нею приходилось ухаживать.

Когда все эти несчастья свалились на голову Джосайи, он стал искать

утешения в алкоголе и превратился в безнадежно опустившегося пьяницу. Он горестно переживал свое падание и безудержно плакал. Он сказал, что в таком веселом месте, как бар, он, возможно, был бы храбрым и сильным, но постоянный запах мокрой ткани и мыльной пены лишал его остатков мужества.

Я опросил, что говорит обо всем этом капитан. Джосайя снова разразился слезами и ответил, что капитана уже нет в живых, и это, по его словам, напоминало ему, зачем он пришел ко мне. Добрый старик завещал ему пять тысяч долларов. Джосайя желал получить от меня совет, как распорядиться деньгами.

Моим первым побуждением было убить его на месте, — до сих пор я жалею, что не сделал этого. Однако я сдержал себя и предложил ему на выбор; либо я выброшу его в окно, либо выпущу в дверь, но советов давать не буду.

Он ответил, что согласен вылететь в окно, но предварительно должен узнать от меня, куда вложить свои деньги: в «Компанию нитратов Терра-дель-Фуэго» или в банк «Юнион Пасифик». Жизнь больше не представляет для него интереса. Он желает только вложить деньги в верное дело, в качестве залога счастливого будущего, чтобы любимые родственники могли воспользоваться хоть чем-нибудь после его кончины.

Он требовал, чтобы я высказал свои соображения о «Компании нитратов». Я ответил отказом разговаривать на эту тему. Из моих слов он сделал вывод, будто я о них невысокого мнения, а потому выразил намерение вложить свои деньги в банк «Юнион Паоифик».

Я предоставил ему поступать, как ему нравится.

Он помолчал, видимо стараясь добраться до скрытого смысла моих слов, потом хитро улыбнулся и заявил, что понял меня. И это, дескать, очень любезно с моей стороны. Он должен вложить деньги, до последнего доллара, «Компанию нитратов Терра-дель-Фуэго».

Он с трудом поднялся, чтобы уйти. Я знал так же твердо, как и то, что за ночью следует день: какую бы компанию я ни рекомендовал ему — в действительности или в его воображении — это предприятие обанкротится. Все небольшое состояние моей бабушки было вложено в «Компанию нитратов Терра-дель-Фуэго». Я не желал видеть, как моя бабушка впадет в нищету на старости лет. Что касается Джосайи, то ему при любых условиях предстояло потерять свои деньги. Я посоветовал бедняге вложить свой капиталец в акции банка «Юнион Пасифик». Он ушел и последовал моему совету.

Банк «Юнион Пасифик» продержался полтора года, потом начал

трещать. Финансовый мир был до крайности изумлен, так как этот банк всегда считался одним из самых надежных в стране. Я хорошо знал причину, но молчал.

Банк боролся изо всех сил, но длань судьбы была занесена над ним. Спустя девять месяцев наступил неминуемый конец.

(Нитраты — вряд ли нужно говорить об этом — упорно и стремительно поднимались в цене. Когда бабушка умерла, ее состояние равнялось миллиону долларов и она завещала его на благотворительные цели. Будь ей ведомо, что я спас ее от разорения, она, возможно, оказалась бы более благодарной.)

Через несколько дней после краха банка Джосайя появился у моего порога и на этот раз привел с собою всех своих родственников. В общей сложности их было шестнадцать.

Что мне оставалось делать? Шаг за шагом я довел этих людей до края пропасти. Я разрушил их счастье и надежды на лучшую жизнь. Единственное, что я мог сделать, это обеспечить им возможность жить, не нуждаясь в самом необходимом.

С тех пор прошло семнадцать лет. Я все еще продолжаю заботиться, чтобы они не нуждались, и моя совесть не грызет меня, так как они довольны судьбой. Теперь их уже двадцать два человека, и весной мы рассчитываем на прибавление семейства.

Вот что произошло со мною, — закончил мой собеседник. — Быть может, вы теперь поймете мою внезапную вспышку, когда вы попросили у меня совета. Я твердо придерживаюсь правила: не давать никому советов ни по каким вопросам».

Я пересказал все это Мак-Шонесси. Он согласился, что это очень поучительный рассказ, и обещал запомнить его, — запомнить, чтобы пересказать некоторым своим знакомым, которым, по его мнению, урок может пойти на пользу.

Глава II

Сказать по совести, мы не очень-то подвинулись вперед во время нашей первой встречи. Виною тому был Браун. Он все порывался рассказать нам какой-то анекдот про собаку. Оказалось, что это старая-престарая история о том, как хозяин приучил своего пса бегать каждое утро в булочную, держа во рту монету в одно пенни, и получать за нее булку с изюмом. Но как-то булочник, решив, что собаку легко обмануть, попробовал подсунуть бедному животному булку ценою в полпенни, а в ответ на это пес ушел и привел с собой полисмена. Браун в то утро впервые услышал этот бородатый анекдот и был от него в полном восторге. Для меня всегда являлось загадкой, где находился Браун на протяжении последних ста лет. Он способен остановить вас на улице возгласом: «О, послушайте! Я должен рассказать вам замечательный анекдот!» — а потом принимается излагать вам, увлекаясь и смакуя, какую-нибудь из коронных шуток нашего праотца Ноя или одну из тех историй, которые Ромул некогда рассказывал Рему. Я жду, что кто-нибудь сообщит ему историю Адама и Евы и он, вообразив, будто напал на новый сюжет, начнет перерабатывать ее в роман.

Он выдает эту седую старину за собственные воспоминания или, хотя бы, за случаи из жизни своего троюродного брата. Как ни странно, но самые невероятные и катастрофические события обычно происходят именно с вашими знакомыми или в их присутствии. Впрочем, мне никогда не доводилось видеть человека, который не присутствовал бы лично при том, как кого-то сбросило толчком с империала омнибуса прямо в мусорную телегу. Если подсчитать, то, вероятно, не менее половины жителей Лондона летало с империалов омнибусов а мусорные телеги, откуда их приходилось выуживать с помощью лопаты.

Есть еще анекдот про некую даму, чей муж внезапно заболел, когда они находились в гостинице. Дама стремительно бежит на кухню и приготовляет для него горчичную припарку, а потом мчится обратно, но впопыхах врывается в чужой номер и там, откинув простыни, любовно ставит припарку постороннему мужчине. Я столько раз слыхал этот анекдот, что ужасно нервничаю, ложась спать в гостинице. Всякий, рассказывавший мне эту историю, неизменно ночевал в номере, смежном с тем, где помещалась жертва, его разбудили (вопли, издаваемые несчастным, когда горячая горчичная припарка обожгла его спину,

благодаря чему он (то есть рассказчик) и узнал об этом происшествии.

Браун хотел уверить нас, будто мифический пес, о котором он рассказывал нам, принадлежал его шурину, и обиделся, когда Джефсон sotto voce[1] проворчал, что это был шурин двадцати восьми его знакомых, не говоря о тех ста семнадцати, которые сами, по их словам, являлись владельцами этой собаки.

Потом мы пытались взяться за работу, но Браун уже выбил нас из колеи. Веяний, начинающий рассказывать истории про собак, в компании обыкновенных, не слишком стойких людей, совершает непростительный грех. Стоит кому-нибудь начать, и каждый из присутствующих испытывает потребность рассказать историю еще покруче.

Существует анекдот — не могу поручиться за его достоверность, хотя слышал я его от судьи, про человека, находившегося при смерти. Приходский пастор, добрый и благочестивый старик, пришел навестить его и, желая подбодрить, рассказал забавную историю о собаке. Когда пастор дошел до конца, больной приподнялся с постели, сел и оказал: «Я знаю случай получше. У меня когда-то была собака, — большая такая, коричневая, кривобокая…»

Обессилев, он навалился на подушки. Подошел врач и шепнул пастору, что больному осталось жить всего несколько минут.

Старый добряк-пастор взял в сваи руки руку умирающего и пожал ее.

«Мы еще встретимся», — мягко проговорил он.

Больной повернулся к нему, и в его взгляде светились умиротворение и благодарность.

«Рад слышать это… — с трудом прошептал он. — Непременно напомните мне, чтобы я досказал вам историю про эту собаку».

И он мирно скончался с улыбкой на устах.

Браун, поделившись с нами своим собачьим анекдотом, сразу же успокоился и потребовал, чтобы мы занялись нашей героиней, но у остальных в ту минуту не было никакого желания заниматься героиней. Мы молча вспоминали все собачьи истории, когда-либо слышанные нами, обдумывая, которая покажется более правдоподобной.

Мак-Шонесси делался все тревожнее я мрачнее, Браун, закончив длинную речь, которой никто не слышал, заметил не без гордости:

— Чего же вам еще? Сюжет этот никем не использован, а характеры вполне оригинальны!

Вот тут-то нашего Мак-Шонесси и прорвало.

— Кстати, о сюжетах, — сказал он и придвинул стул ближе к столу, — мне невольно пришло на память… Я никогда не рассказывал вам про

собаку, которая была у нас, когда мы жили в Норвуде?

— Это не та история про бульдога? — испуганно спросил Джефсон.

— Действительно, про бульдога, — согласился Мак-Шонесси, но мне кажется, я вам никогда ее не рассказывал.

Мы по опыту знали, что спарить с ним — только продлевать пытку, а потому не стали мешать ему.

— Незадолго до того, как все это случилось, в наших местах произошло множество грабежей, — начал Мак-Шонесси, — мой отец пришел к выводу, что необходимо завести собаку. Он решил, что больше всего пригоден бульдог, и купил самого кровожадного на вид бульдога, какого ему удалось найти.

Увидев пса, матушка встревожилась.

«Надеюсь, ты не позволишь этому зверю бегать по дому! — воскликнула она. — Он непременно загрызет кого-нибудь насмерть. Я нижу это по выражению его морды».

«Я и желаю, чтобы он загрыз кого-нибудь, — откликнулся отец. — Я хочу, чтобы он бросался на грабителей и загрызал их насмерть».

«Мне неприятно слышать от тебя подобные речи, Томас, — ответила матушка, — это так не похоже на тебя. Мы имеем право защищать свое имущество, но у нас нет никакого права отнимать жизнь у наших братьев во Христе».

«Наши братья во Христе будут в полной безопасности до тех пор, пока не заберутся без приглашения к нам на кухню, — резко возразил отец. — Я оставлю этого пса в чулане при кухне, и если грабитель заберется к нам, пусть пеняет на себя!»

Почти месяц мои старики препирались из-за пса. Отец считал матушку излишне сентиментальной, а она полагала, что он чрезвычайно мстителен. Пес тем временем становился с каждым днем все свирепее на вид.

Как-то ночью матушка разбудила отца, прошептав:

«Томас, я уверена, что внизу грабитель. Я ясно слышала, как открывалась задняя дверь».

«Тем лучше. Значит, собака уже схватила его», — пробормотал отец; он ничего не слышал, и ему очень хотелось спать.

«Томас, — решительно заявила матушка, — я не могу спокойно лежать здесь, когда дикий зверь убивает нашего брата во Христе. Если ты не намерен опуститься вниз и спасти его жизнь, то я сделаю это сама».

«Что за чушь! — сказал отец, поднимаясь. — Тебе постоянно мерещатся разные шумы. Я даже думаю, что вы, женщины, именно для того и ложитесь в постель, чтобы потам садиться и прислушиваться, нет ли

в доме грабителей».

Однако, чтобы успокоить жену, он натянул носки и брюки и спустился в первый этаж.

На этот раз матушка была права. В дом действительно проник вор. Окно в кладовой было открыто, а в кухне горел свет. Отец тихонько подошел к приоткрытой двери и заглянул в нее. Грабитель расположился на кухне и уплетал холодное мясо с пикулями, а тут же, у ног вора, глядя ему в лицо с восторженной улыбкой, от которой кровь леденела в жилах, сидел, виляя хвостом, наш слабоумный бульдог.

Отец был потрясен и забыл о необходимости соблюдать тишину.

«Это же черт…» И он разразился такими словами, которые я не в состоянии повторить.

Услыхав это, грабитель вскочил и дал тягу через окно, а пес явно обиделся за грабителя.

На следующее утро мы отвели пса к собачнику, у которого его приобрел.

«Как вы думаете, зачем понадобился мне этот пес?» — спросил отец, стараясь говорить спокойно.

«По вашим словам, вы желали приобрести хорошую домашнюю собаку», — ответил тот.

«Совершенно верно, — заявил отец. — Но я не просил у вас сообщника для грабителей, — не так ли? Я не говорил вам, будто нуждаюсь я собаке, которая заводит дружбу с вломившимся в мой дом вором и составляет ему компанию за ужином, чтобы грабитель не чувствовал себя одиноким, — как вы думаете?»

И отец сообщил о событиях прошедшей ночи.

Дрессировщик согласился, что у отца имеются основания для недовольства.

«Я объясню вам, в чем дело, сэр, — оказал он. — Этого пса натаскивал мой сынишка Джим. Как я подозреваю, озорник больше обучал пса ловить крыс, чем грабителей. Оставьте бульдога у меня на недельку, сэр, и все будет в порядке».

Мы согласились, а когда истекло назначенное время, дрессировщик привел нашего пса обратно.

«Теперь вы будете довольны, сэр, — сказал собачник. — Он не из тех псов, которых я. называю интеллектуальными, но, думается, я вколотил в него правильные взгляды».

Отец счел необходимым учинить проверку и оговорился за шиллинг с одним человеком, чтобы тот проник через окно в кухню, а дрессировщик в

это время будет держать пса на цепи. Пес сохранял полное спокойствие, пока нанятый отцом человек не оказался в кухне. Тогда бульдог сделал яростный рывок, и если бы цепь была менее крепкой, бедняге дорого обошелся бы его шиллинг.

Отец вполне удовлетворился увиденным и решил, что может спать спокойно, а тревога матушки за жизнь и безопасность местных грабителей пропорционально возросла.

Несколько месяцев прошло без всяких происшествий, а потом другой грабитель проник в наш дом. На этот раз не могло быть сомнений, что пес угрожает чьей-то жизни.

Грохот в нижнем этаже был ужасающим. Дом сотрясался от падения тел.

Отец схватил револьвер и побежал вниз, я последовал за ним на кухню. Столы и стулья там были опрокинуты, а на полу лежал человек и сдавленным голосом звал на помощь. Над ним стоял пес и душил его.

Отец приставил револьвер к виску лежавшего на полу мужчины, а я сверхчеловеческим усилием оттащил нашего защитника и привязал его цепью к раковине. Потом я зажег газовую лампу.

Тут мы обнаружили, что джентльмен, лежавший на полу, был полицейским.

«Господи боже мой! — воскликнул отец, выронив револьвер, — вы-то как попали сюда?»

«Как я попал сюда? — повторил, садясь, полисмен тоном крайнего, хотя и вполне естественного, возмущения. — По служебным делам, вот как я попал сюда. Если я вижу, что грабитель лезет в окно, я следую за ним и тоже лезу в одно».

«Удалось вам его поймать? — спросил отец.

«Как бы не так! — заорал констебль. — Мог ли я поймать его, когда чертов пес схватил меня за горло, а тем временем грабитель закурил трубку и спокойно ушел через заднюю дверь!»

На следующий же день пса решили продать. Матушка, которая успела его полюбить за то, что он позволял моему младшему брату дергать его за хвост, просила не продавать собаку. Животное, по ее словам, нисколько не было повинно в ошибке. В дом почти одновременно проникли двое. Пес был не в состоянии напасть сразу на обоих. Он сделал что мог и набросился на одного из них; по несчастной случайности это был полицейский, а не грабитель. Но то же самое могло произойти с любой собакой.

Однако предубеждение отца против бедного бульдога было так

сильно, что на той же неделе он поместил в «Охотничьей газете» объявление, где рекомендовал нашего пса в качестве полезного приобретения любому предприимчивому представителю уголовного мира…

После Мак-Шонесси пришла очередь Джефсона, и он рассказал нам волнующую историю про жалкую дворняжку, которую переехала карета на Странде. Студент-медик, свидетель несчастного случая, подобрал калеку и отнес о больницу на Чаринг-кросс, где ей вылечили сломанную лапу и содержали собачонку, пока она не поправилась окончательно, после чего ее отправили домой.

Бедняжка прекрасно поняла, как много для нее сделали, я была самой благодарной пациенткой, какую когда-либо видели в этой больнице. Весь медицинский переслал был весьма опечален, расставаясь с ней.

Две или три недели спустя дежурный хирург, взглянув как-то утром в окно, увидел собаку, бредущую по улице, а когда та подошла поближе, хирург заметил, что она держит в зубах монету в одно пенни. Возле тротуара стояла тележка торговца мясными обрезками, и собака, проходя мимо нее, на мгновение заколебалась.

Однако благородные чувства пересилили: подойдя к больничной ограде и встав на задние лапы, она опустила свою монету в кружку для добровольных пожертвований.

Мак-Шонесси был очень растроган рассказом и утверждал, что эта история свидетельствует о замечательной черте характера собаки. Животное было бедным отщепенцем, бездомным бродягой, у которого, возможно, никогда ранее за всю жизнь не было ни одного пенни и, вероятно, никогда больше не будет. Мак-Шонесси поклялся, что пенни этого пса кажется ему более значительным даром, чем самый крупный чек, когда-либо пожертвованный самым богатым человеком.

Теперь уже трое жаждали приняться за работу над нашим романом, но я счел это не слишком любезным. У меня самого имелись две-три собачьи истории, которые мне хотелось выложить. Много лет тому назад я знавал черно-рыжего фокстерьера. Он жил в одном доме со мною и никому не принадлежал, так как покинул своего владельца (впрочем, учитывая агрессивно-независимый характер нашего терьера, вряд ли он когда-либо унизился до признания чьей-нибудь власти), и теперь жил совершенно самостоятельно. Нашу прихожую он превратил в свою спальню, а столовался одновременно с другими жильцами, когда бы они ни принимали пищу.

В пять часов утра он обычно наскоро съедал ранний завтрак вместе с

юным Холлисом, учеником механика, встававшим в половине пятого и самолично варившим себе кофе, чтобы к шести часам поспеть на работу. В восемь тридцать он завтракал уже более плотно с мистером Блэйром со второго этажа, а иногда делил трапезу с Джеком Гэдбатом, встававшим поздно, в одиннадцать часов, — он получал здесь порцию тушеных почек.

С этого времени и до пяти часов дня, когда я обычно выпивал чашку чая и съедал отбивную котлету, пес исчезал. Где он находился и что делал в этот промежуток времени, было неведомо. Гэдбат божился, что дважды видел его выходящим из одной банкирской конторы на Треднидл-стрит, и каким бы невероятным ни казалось на первый взгляд это утверждение, оно начинало приобретать оттенок правдоподобия, если учесть противоестественную страсть этого пса к медякам, которые он всеми способами добывал и копил.

Жажда наживы у него была поистине изумительная. Этот уже немолодой пес обладал большим чувством собственного достоинства, однако стоило вам пообещать ему пенни, и он принимался ловить собственный хвост и вертеться, пока не переставал понимать, где у него хвост, а где голова.

Он разучивал разные трюки и по вечерам ходил из комнаты в комнату, показывая их, а по окончании программы садился на задние лапы и попрошайничал. Мы все потакали ему. За год он, должно быть, набирал немало фунтов стерлингов.

Как-то я увидел его у нашей входной двери среди толпы, глазевшей на дрессированного пуделя, выступавшего под звуки шарманки. Пудель становился на передние лапы и так обходил круг, подобно акробату, шагающему на руках. Зрителям это очень нравилось, и потом, когда песик снова обошел их, держа деревянное блюдце в зубах, они щедро наградили его.

Наш терьер вернулся домой и немедленно принялся репетировать. Спустя три дня он умел стоять вниз головой и ходить на передних лапах и в первый же вечер заработал шесть пенсов. В его возрасте, надо полагать, это было невероятно трудно, тем более что он страдал ревматизмом, но ради денег он был готов на все. Думаю, что за восемь пенсов он охотно продал бы себя дьяволу.

Он знал цену деньгам. Если вы протягивали ему одной рукой пенни, а другой монету в три пенса, он хватал трехпенсовик, а потом убивался оттого, что не может схватить также и пенни. Его можно было спокойно запереть в комнате наедине с бараньей ножкой, но было бы неразумно оставить там кошелек.

Время от времени он кое-что тратил, но немного. Он питал непреодолимое пристрастие к бисквитному пирожному и иногда, после того как выдавалась удачная неделя, позволял себе полакомиться одним или двумя. Но он ужасно не любил платить и каждый раз — настойчиво, а часто и удачно — пытался удрать, получив пирожное и сохранив свое пенни. План действий у него был несложный. Он входил в лавку, держа пенни в зубах так, чтобы монета была на виду, а его глаза выражали простодушие, как у только что родившегося теленка. Выбрав место как можно ближе к печенью и восторженно уставившись на него, терьер начинал скулить, пока лавочник, вообразив, будто имеет дело с порядочным псом, не бросал ему пирожное.

Разумеется, для того чтобы поднять пирожное, псу приходилось выпустить монету из зубов, и вот тут-то и начиналась борьба между ним и лавочником. Лавочник пытался поднять монету. Пес, наступив на нее лапой, дико рычал. Если ему удавалось сожрать пирожное раньше, чем кончалось это соревнование, он подхватывал монету и был таков. Я не раз видел, как он возвращался домой, наевшись до отвала своим любимым лакомством, а монета по-прежнему была у него в зубах.

Его бесчестное поведение получило такую широкую огласку по всему околотку, что спустя некоторое время большинство торговцев из соседних кварталов начисто отказалось обслуживать его. Только самые проворные и подвижные еще решались иметь с ним дело.

Тогда он перенес поле своей деятельности в более отделенные районы, куда еще ие проникла его дурная слава, и старался выбирать такие лайки, которые содержались нервными женщинами или ревматическими стариками.

Утверждают, что страсть к деньгам — источник всех зол. По-видимому, она убила в нем всякое чувство чести.

Наконец из-за своей страсти он лишился жизни. Произошло это следующим Образом. Как-то вечером он выступал в комнате Гэдбата, где несколько человек беседовали и курили; юный Холлис, парень щедрый, бросил ему шестипенсовик, — так он полагал. Пес схватил монету и залез под диван. Подобное поведение было настолько необычным, что мы принялись обсуждать его. Внезапно Холлиса осенила мысль; он достал из кармана деньги и пересчитал их.

«Ей-богу, — воскликнул он, — я дал этому скоту полсоверена! Сюда, Малютка!»

Но Малютка только залезал все глубже под диван, и никакие уговоры не могли заставить его вылезть оттуда. Тогда мы прибегли к более

действенным мерам и стали вытаскивать его за загривок.

Он появлялся дюйм за дюймом, злобно рыча и крепко сжимая в зубах полусоверен Холлмса. Сначала мы пытались урезонить пса лаской. Мы предложили ему в обмен шестипенсовик: он принял оскорбленный вид, словно мы обозвали его дураком. Потом мы показали ему шиллинг и даже дошли до полукроны, но наша настойчивость, казалось, только все больше раздражала его.

«Думаю, вам больше не видать своего полусоверена, Холлис», — заявил со смехом Гэдбат.

За исключением юного Холлиса, нам всем это представлялось веселой шуткой. Холлис, напротив, был раздражен и, схватив пса за шиворот, попытался вырвать монету из собачьей пасти.

Малютка, верный принципу, которому следовал на протяжении всей жизни: при малейшей возможности никогда ничего не возвращать, вцепился зубами в монету. Почувствовав, что его небольшой заработок медленно, неверно уходит от него, он сделал последнее, отчаянное усилие и проглотил монету. Полусоверен застрял у него в горле, и пес стал задыхаться.

Тут мы всерьез испугались. Пес был занятным малым, и мы не хотели, чтобы с ним что-нибудь случилось. Холлис помчался в свою комнату и принес пару длинных щяп-цов, а мы все держали бедного Малютку, пока Холлис пытался освободить его от причины страданий.

Но бедный Малютка не понимал наших намерений. Он воображал, будто мы хотим отнять у него вечерний заработок, и сопротивлялся изо всех сил. Монета застревала все крепче, и, вопреки нашим стараниям, пес околел, — еще одна жертва неистовой золотой лихорадки.

Глава III

Наша героиня доставила нам много хлопот. Браун желал, чтобы она была уродлива. Браун неизменно хочет казаться оригинальным, и главным способом, при помощи которого он стремится к оригинальности, состоит в том, что он берет что-нибудь банальное и выворачивает наизнанку. Если б Брауну предоставили в собственность небольшую планету, где он мог бы делать все что угодно, он назвал бы день ночью, а лето зимой. Он заставил бы мужчин и женщин ходить на голове и здороваться ногами, деревья у него росли бы корнями вверх и старый петух нес бы яйца. Потом он отошел бы в сторону и сказал: «Поглядите, какой оригинальный мир я создал, — целиком по собственному замыслу!»

Браун далеко не единственный человек, обладающий подобным представлением об оригинальности.

Я знаю одну маленькую девочку. Несколько поколений ее предков были политическими деятелями. Наследственный инстинкт в ней так силен, что она почти не в состоянии иметь собственное мнение. Она во всем подражает своей старшей сестре, которая унаследовала черты характера матери. Если сестра съедает за ужином две порции рисового пудинга, младшая тоже считает необходимым съесть две порции рисового пудинга. Если старшая сестра не голодна и отказывается от ужина, младшая ложится спать натощак.

Подобное отсутствие характера в девочке огорчало ее мать — отнюдь не поклонницу политических добродетелей, и как-то вечером, усадив малютку к себе на колени, она попыталась серьезно поговорить с нею.

«Постарайся сама думать за себя, — сказала она, — а не подражай во всем Джесси, — ведь это глупо. Время от времени придумывай что-нибудь сама. Будь хоть в чем-нибудь оригинальной».

Девочка обещала попробовать и, ложась в постель, была задумчива.

На следующей день к завтраку на стол были поданы почки и копченая рыба. Девочка до страсти любила копченую рыбу, а почни не выносила, как касторку. Только в этом вопросе у нее было собственное мнение.

«Тебе, Джесси, копченой рыбы или почек?» — спросила мать, обращаясь к старшей девочке.

Джесси мгновение колебалась, а ее младшая сестра смотрела на нее в тоскливом ожидании.

«Пожалуйста, копченой рыбы, мама», — ответила наконец Джесси, и

младшая девочка отвернулась, чтобы скрыть слезы.

«Тебе, разумеется, копченой рыбы, Трикси?» — ничего не заметив, оказала мать.

«Нет, благодарю вас, мама, — сдавленным, дрожащим голосам сказала маленькая героиня, подавляя рыдание, — я хочу почек».

«Но мне показалось, что ты терпеть не можешь почек!» — удивленно воскликнула мать.

«Да, мама, они мне не очень нравятся».

«И ты так любишь копченую рыбу…»

«Да, мама».

«Так почему ты, глупышка, не хочешь есть рыбу?»

«Оттого что Джесси попросила рыбы, а ты велела мне быть оригинальной». И при мысли о том, какой ценой приходится платить за оригинальность, бедняжка разразилась слезами.

Мы трое отказались принести себя в жертву на алтарь Оригинальности Брауна и решили удовлетвориться обыкновенной красивой девушкой.

— Хорошей или плохой? — спросил Браун.

— Плохой! — с ударением заявил Мак-Шонеоои. — Что скажешь, Джефсон?

— Что же, — вынимая трубку изо рта, ответил Джефсон тем успокоительно-меланхолическим тоном, который не изменяет ему, рассказывает ли он веселую свадебную шутку или анекдот о похоронах, — я предпочитаю не совсем плохую. Вернее, плохую, но с хорошими задатками, причем свои хорошие задатки она сознательно держит под спудом.

— Интересно, — пробормотал Мак-Шонесси в раздумье, — чем это объяснить, что плохие люди намного интереснее?

— Причину нетрудно обнаружить, — ответил Джефсон. — В них больше неопределенности. Они заставляют вас держаться настороже. Это то же самое, что сравнить верховую езду на хорошо объезженной кобыле, плетущейся бодрою рысцою, со скачкой на молодом жеребце, который смотрит на вещи по-своему. На первой удобно путешествовать, зато второй доставляет вам возможность тренировать себя. Взяв в героини безупречно хорошую женщину, вы выдаете все свои тайны в первой же главе. Всем доподлинно известно, как героиня поступит при любом предполагаемом стечении обстоятельств: она всегда будет поступать одинаково-то есть правильно. С недобродетельной героиней, напротив, не известно заранее, что произойдет. Из пятидесяти с лишним возможных

путей она может избрать как единственный правильный, так и один из сорока девяти ошибочных, и вы с любопытством ждете, какой же путь она изберет.

— Однако существует множество добродетельных женщин, которые могут представлять интерес, — возразил я.

— Но только в те промежутки, когда они перестают быть добродетельными, — ответил Джефсон. — Безупречная героиня, вероятно, так же способна взбесить читателя, как Ксантиппа бесила Сократа или как пай-мальчик в школе выводит из себя остальных ребят. Вспомните типичную героиню романов восемнадцатого века. Она встречалась со своим возлюбленным только для того, чтобы оказать ему, что не может ему принадлежать, и, как правило, не переставала рыдать во время свидания. Она не забывала побледнеть при виде крови или упасть без чувств в объятия героя в самое неподходящее мгновение. Она считала невозможным брак без разрешения отца и в то же время была полна решимости ни за кого не выходить замуж, кроме того единственного человека, на супружество с которым, по ее твердому убеждению, она никогда не получит согласия. Она была образцовой молодой девицей и, в результате, столь же скучной и неинтересной, как любая знаменитость в частной жизни.

— Но ты же говоришь не о хороших женщинах, — заметил я, — ты говоришь об идеале хорошей женщины, каким он представлялся некоторым глупым людям.

— Готов согласиться, — отвечал Джефсон. — Но что такое хорошая женщина? Полагаю, что этот вопрос слишком глубок и сложен, чтобы простой смертный мог ответить на него. Но я имею в виду женщину, которая соответствовала всеобщему представлению о девической добродетели в эпоху, когда писались те книги. Не следует забывать, что добродетель не является неизменной величиной. Она меняется в зависимости от времени и места, и, вообще говоря, именно ваши «глупые люди» повинны в появлении новых штампов. В Японии хорошей девушкой считают ту, которая готова продать честь, чтобы доставить жизненные удобства престарелым родителям. На некоторых гостеприимных островах тропического пояса хорошая жена, ради того чтобы гости мужа чувствовали себя как дома, готова на многое такое, что мы бы сочли излишним. В Древней Иудее Иаэль почитали хорошей женщиной за то, что она убила спящего человека, а Сарре не угрожала опасность потерять уважение своих близких, когда она привела Агарь к Аврааму. В Англии восемнадцатого века превосходная степень тупости и глупости почиталась

женской добродетелью (мы недалеко ушли от этого и поныне), и писатели, всегда принадлежащие к числу самых послушных рабов общественного мнения, создавали своих марионеток по соответствующим образцам. В наши дни посещение трущоб с благотворительной целью считается добродетелью и вызывает всемерное одобрение, а потому все наши добродетельные героини занимаются благотворительностью и «делают добро беднякам».

— До чего полезны бедняки! — несколько неожиданно заявил Мак-Шонесси, задрав ноги на каминную полку и откинувшись на стуле под таким опасным углом, что мы все уставились на него с живым интересом. — Мне кажется, что мы, жалкие писаки, даже не представляем себе до конца, сколь многим мы обязаны людям, не имеющим средств к существованию. Что было бы с нашими ангелоподобными героинями и благородными героями, если бы не бедняки? Мы желаем показать, что любезная нам девушка так же добра, как красива. Что же мы делаем? Мы вешаем ей на руку корзину с цыплятами и бутылками вина, надеваем ей на голову прелестную маленькую шляпку и посылаем ее обходить неимущих. А каким способом доказать, что наш герой, который кажется всем отъявленным бездельником, на самом деле является благородным молодым человеком? Это возможно, если объяснить, что он хорошо относится к беднякам.

В реальной жизни они так же полезны, как и в литературе. Что утешает торговца, когда актер, зарабатывающий восемьдесят фунтов стерлингов в неделю, не в состоянии уплатить ему свой долг? Разумеется, восторженные заметки в театральной хронике о том, что этот актер щедро раздает милостыню беднякам. Чем мы успокаиваем негромкий, но раздражающий нас голос совести, который иногда говорит в нас после успешно завершенного крупного мошенничества? Разумеется, благородным решением пожертвовать «на бедных» десять процентов чистой прибыли.

Что делает человек, когда приходит старость и настает время серьезно подумать о то(м, как обеспечить себе теплое местечко в потустороннем мире? Он внезапно начинает заниматься благотворительностью. Что стал бы он делать без бедняков, которым можно благодетельствовать? Он никак не мог бы измениться к лучшему. Большое утешение знать, что есть люди, нуждающиеся в грошовой милостыне. Они — та лестница, по которой мы взбираемся на небо.

На мгновение воцарилась тишина, только Мак-Шонесси громко и сердито пыхтел трубкой. Тогда заговорил Браун:

— Я могу рассказать вам забавный случай, прямо связанный с тем, о чем идет речь. Один из моих двоюродных братьев был агентом по продаже земельных участков в небольшом городке, а в числе домов, значившихся в его списке, имелся прекрасный старый помещичий дом, пустовавший в течение ряда лет. Мой брат уже отчаялся продать его, но внезапно в его контору пришла богато одетая пожилая дама и стала наводить справки об этом доме. Она сказала, что прошлой осенью, проезжая по этой части графства, случайно увидела дом и была поражена его красотой и живописным расположением. Она прибавила, что ищет спокойный уголок, где могла бы поселиться и мирно провести остаток дней, и полагает, что это место вполне ей подойдет.

Мой двоюродный брат, обрадованный тем, что нашелся покупатель, сразу же предложил отвезти даму в поместье, расположенное в восьми милях от города, и они отправились туда. Брат на все лады расписывал выгодные стороны участка. Он подчеркнул уединённое местоположение, тишину, близость — но не чрезмерную — к церкви, а также удобную связь с ближайшей деревней.

Все предвещало благополучное завершение сделки. Леди была очарована окрестностями и восхищена домом и участкам. Цену она сочла умеренной.

«А теперь, мистер Браун, — оказала покупательница, когда они стояли у дома привратника, — скажите мне, живут ли здесь поблизости бедняки?»

«Бедняки? — переспросил мой двоюродный брат. — Бедняков здесь нет».

«Нет бедняков? — воскликнула леди. — Нет бедняков в деревне или где-нибудь поблизости?»

«Вы не найдете ни одного бедняка на расстоянии пяти миль от поместья, — с гордостью ответил мой двоюродный брат. — Видите ли, сударыня, в нашем графстве население весьма малочисленное и чрезвычайно процветающее, в особенности это относится к нашему округу. Здесь нет ни одной семьи, которая не была бы сравнительно зажиточной».

«Мне очень грустно слышать подобные речи, — разочарованно заявила леди. — Если бы не это обстоятельство, поместье во всех отношениях подошло бы мне».

«Но позвольте, сударыня, — воскликнул мой двоюродный брат, для которого этот спрос на бедняков был чем-то совершенно новым, — не хотите же вы оказать, что вам нужны бедняки? Мы всегда считали одним из основных преимуществ этого поместья то, что здесь ничто не шокирует взгляд и не в состоянии оскорбить самого впечатлительного и

мягкосердечного владельца».

«Дорогой мистер Браун, — возразила леди, — я буду с вами откровенна до конца. Я старею, и, возможно, в прошлом моя жизнь была не слишком примерной. Я желаю, во искупление… э… грехов моей молодости, заняться благотворительностью в старости, а для этой цели мне необходимо быть окруженной некоторым количеством достойных бедняков. Я рассчитывала найти по соседству с этим очаровательным поместьем достаточное количество бедных и нищих и тогда приобрела бы участок без всяких колебаний. Но, по-видимому, мне придется поискать в другом месте».

Мой двоюродный брат был ошеломлен и опечален.

«В городе, — оказал он, — множество бедняков, и среди них имеются весьма интересные экземпляры; вы могли бы полностью взять на себя заботу о многих. Я убежден, что никто не стал бы возражать».

«Благодарю вас, — отвечала леди, — но, право, город слишком далеко. Люди, которым я помогаю, должны находиться на таком расстоянии, чтобы я, посещая их, не утомлялась, в противном случае они мне не подходят».

Мой двоюродный брат снова принялся шевелить мозгами. Он не собирался упустить покупательницу, пока имелась хоть какая-то возможность не дать ей ускользнуть. Внезапно его озарила блестящая мысль.

«Я знаю, что тут можно сделать, — заявил он. — По другую сторону селения имеется заболоченный пустырь. Если вам угодно, мы могли бы поставить там дюжину домиков-самых дешевых, и чем хуже они окажутся, чем менее будут пригодны для жилья, тем лучше, — а потом раздобыть несколько бедных семейств и поселить их там».

Леди задумалась: это предложение показалось ей приемлемым.

«Видите ли, — продолжал мой двоюродный брат, стараясь обрисовать все преимущества своего плана, — согласившись на это, вы могли бы сами подобрать себе бедняков по вкусу. Мы раздобудем для вас несколько милых, чистых, благодарных бедняков и сделаем все возможное для вашего удовольствия».

В конце концов дама согласилась с предложением моего брата и составила перечень бедняков, которых ей желательно иметь. Там были прикованная к постели старуха (предпочтительно принадлежащая к англиканской церкви); старик паралитик; слепая девушка, которая хотела бы, чтобы ей читали вслух; атеист, впавший в нужду и не возражающий против того, чтобы его вернули в лоно церкви; двое калек; пьяница-отец,

согласный вести душеспасительные разговоры; сварливый старик, требующий большого терпения; два многодетных семейства и четыре рядовые супружеские четы.

Брат столкнулся с некоторыми трудностями в подборе пьяницы-отца. Большинство пьяниц-отцов, с которыми он объяснялся на эту тему, испытывало закоренелое отвращение ко всяким нравоучениям. Однако после долгих поисков он нашел слабохарактерного человека, который, ознакомясь с требованиями дамы-благотворительницы, согласился занять вакантное место и первое время натаиваться не чаще одного раза в неделю, так как он испытывал врожденное отвращение к спиртным напиткам и должен был сперва преодолеть это чувство. Привыкнув, он рассчитывал лучше оправляться со своей задачей.

Со сварливым стариком мой двоюродный брат тоже натолкнулся на трудности. Невозможно было определить, какая степень сварливости потребна. Ведь некоторые сварливые старики просто невыносимы! В конце концов он остановился на опустившемся кебмене, приверженце ярко выраженных радикальных взглядов, который требовал, чтобы с ним заключили контракт на три года.

План удался превосходно и, по словам моего двоюродного брата, действует по сей день. Пьяница-отец полностью преодолел отвращение к спиртным напиткам. Последние три недели он ни разу не был трезв и недавно начал колотить жену. Сварливый старик особенно точен в исполнении своих договорных обязательств и стал настоящим проклятием для всего селения. Остальные полностью вошли в свои роли и исполняют их очень хорошо. Дама посещает своих бедняков ежедневно после завтрака и вовсю занимается благотворительностью. Они называют ее «Рука подающая» и благословляют ее.

Окончив рассказ, Браун встал и налил себе стакан виски, наполовину разбавив его водой. Делал он это с таким самодовольным видом, словно он сам — благодетель, собирающийся наградить себя за совершенное им доброе дело. Тут заговорил Мак-Шонесси:

— Я знаю другую историю на ту же тему. Это произошло в небольшой деревне в Йоркшире — мирном, пристойном местечке, где жители находили жизнь слишком скучной. Но вот здесь появился новый священник, и все сразу изменилось. Это был приятный молодой человек, а так как он обладал значительным состоянием, то являлся весьма желанной добычей. Все незамужние особы единодушно восторгались им.

Однако обычные женские уловки, по-видимому, не действовали на него. Он был молодым человеком с весьма серьезными склонностями и

как-то, разговаривая мимоходом о любви, сказал во всеуслышание, что лично его не привлекают женская красота и прелесть. Ему может понравиться в женщине доброта, милосердие и чуткое отношение к беднякам.

Эти слова навели всех чаровниц на размышление. Все поняли, что шли по ложному пути, когда изучали модные картинки и репетировали выражение лица. «Бедняки» — вот карта, на которую следовало ставить.

Но здесь возникли серьезные затруднения. Во всем приходе был только один бедняк, сварливый старик, живший в покосившемся домишке рядом с церковью; и пятнадцать годных к строевой службе женщин (одиннадцать девиц, три старые девы и одна вдова) воспылали желанием быть «добрыми» по отношению к нему.

Мисс Симондс, одна из старых дев, вцепилась в него первая и стала дважды в день потчевать его бульоном в бутылках, а потом вдова стала закармливать его устрицами с портвейном. Несколькими днями позже остальные появились на его горизонте и стали носить ему желе и цыплят.

Старик не мог понять, в чем дело. Он привык получать время от времени небольшой мешочек с углем, сопровождаемый длинной проповедью с перечислением его грехов, и изредка бутылочку декокта. Неожиданная милость провидения изумила его. Однако он ничего не сказал, а продолжал брать все, что ему приносили. К концу месяца он так растолстел, что не мог пройти в заднюю дверь своего дома.

Соревнование между женщинами с каждым днем становилось все более яростным. В конце концов старик заважничал и стал докучать им чем мог. Он заставлял их убирать лачугу и стряпать обед, а когда они ему надоедали, он посылал их работать в сад.

Они стали ворчать и даже поговаривали о забастовке, но что поделать? Он был единственным бедняком на много миль вокруг и знал это; он был монополистом и, подобно всем монополистам, злоупотреблял своим положением.

Он заставлял их бегать по своим поручениям и посылал покупать табак на их же деньги. Как-то раз он отправил мисс Симондс с кувшином за пивом к ужину. Сначала она обиделась и отказалась, но старик заявил, что, если она еще раз попробует важничать, он выгонит ее из дома и запретит переступать порог. Если она не намерена исполнять его желания, найдется много других, которые согласны. Мисс Симондс знала, что это так, и уступила.

Обычно они читали ему вслух хорошие книги, способные возвысить душу человеческую. Но вскоре старик заявил, что вышел из того возраста,

когда можно внимать вздору, пригодному для воскресной школы. Он желает чего-нибудь позабористее. И заставил их читать вслух французские романы и морские рассказы, где вещи назывались своими именами. «И не смейте ничего пропускать, — говаривал он, — а то я вам покажу где раки зимуют».

Оказалось, что ом любит музыку, и тогда дамы в складчину купили ему фисгармонию. Они намеревались распевать гимны и играть грустные мелодии, но сам он думал иначе. Он желал слушать: «Эй, старушка, спляшем, что ли!» иди «Она подмигнула еще разок» — да так, чтобы все подхватывали припев и пускались в пляс. А раз таковы были его желания, дамы подчинялись.

Трудно сказать, до каких пределов дошла бы тирания старика, если б не произошло событие, положившее преждевременный конец его могуществу. Внезапно и несколько неожиданно священник женился на очень красивой актрисе варьете, не так давно выступавшей в одном из соседних городов. Обручившись, он снял с себя сан, так как невеста не желала быть женой священника. Она заявила, что никогда не сможет «распинаться» перед прихожанами и обходить вместе с супругом-священником их дома.

После женитьбы священника кратковременное благополучие старика нищего окончилось. Его упрятали в работный дом и заставили дробить камни.

Закончив рассказ, Мак-Шонесси снял ноги с каминной полки и стал разминать их, так как они у него занемели; тут Джефсон захватил инициативу и принялся плести нам всякую всячину.

Но мы вовсе не были склонны смеяться над рассказами Джефсона, потому что на этот раз шла речь не о благотворительности богатых, то есть не о добродетели, приносящей быстрое и весьма выгодное вознаграждение, но о помощи, которую бедняк оказывает бедняку, то есть о несколько менее прибыльном вложении средств и совершенно иной материи.

К беднякам — я имею в виду не развязных профессиональных нищих, а скромных людей, борющихся за свое существование, — мы не можем не испытывать подлинного уважения. Мы чтим их, как чтим раненого солдата.

В непрекращающейся войне между Человечеством и Природой бедняки всегда находятся в авангарде. Они умирают в канавах, а мы шагаем по их телам с развевающимися флагами, под барабанный бой.

О них нельзя думать без чувства неловкости, потому что каждому из нас следовало бы немного стыдиться, что мы живем в довольстве, а на их

долю оставляем все трудности жизни. Мы подобны тем, кто отсиживается в тылу, в то время как его товарищи сражаются и умирают в строю.

Там они молча падают и истекают кровью. Природа, вооруженная дубиной, которая носит название: «Выживают наиболее приспособленные», и Цивилизация, держащая в руках острый меч «Спроса и предложения», наносят удар за ударом тем, кто слаб, — и они дюйм за дюймом отступают, хоть и сопротивляются до конца. Но сражаются они молча и угрюмо, а потому недостаточно живописны для того, чтобы казаться героями.

Помню, как-то в субботу я видел старого бульдога, лежавшего у порога лавчонки в Нью-Кате. Пес лежал совсем тихо и, казалось, дремал, и, так как у него был свирепый вид, никто не тревожил его. Входя и выходя, покупатели шагали через его тело, и некоторые случайно задевали его ногой; тогда он дышал тяжелее и чаще.

Наконец один прохожий заметил, что ступает в какую-то лужу, и, посмотрев на свою обувь, обнаружил, что это кровь; поискав глазами, он увидел, что она стекает темной густой струёй с порога, на котором лежит пес.

Он наклонился к бульдогу, пес сонно приоткрыл глаза и, взглянув на него, оскалил зубы, что в одинаковой мере могло означать удовольствие или гнев по поводу того, что его потревожили, — и тут же издох.

Собралась толпа, тело мертвого пса повернули на бок, и тогда все увидели в его паху ужасную глубокую рану, из которой струилась кровь и вывалились внутренности. Владелец лавки сказал, что животное лежало здесь больше часа.

Мне доводилось видеть, как бедняки умирали так же угрюмо и молчаливо, не те бедняки, которых знаете вы, облаченная в тонкие перчатки леди «Рука подающая», или вы, ваше превосходительство сэр Саймон Благотворитель, — и не те, о ком вы хотели бы знать; не бедняки, идущие процессией с хоругвями и кружками для сбора пожертвований, и не те бедняки, которые шумят вокруг ваших столовых, где раздают бесплатный суп, или распевают молитвы, когда гости собираются у вас к чаю; нет, это бедняки, о чьей нищете вы ничего не знаете до тех пор, пока о ней не становится известно из протокола следователя, — это тихие, гордые бедняки, просыпающиеся каждое утро для того, чтобы бороться со Смертью до наступления ночи, те, которые потом, когда она, победив наконец и свалив на прогнивший пол мансарды, душит их, умирают, все еще крепко стискивая зубы.

Когда я жил в Ист-Энде, я знавал одного мальчугана. Он отнюдь не

был милым мальчиком. Он совсем не был таким чистеньким, какими изображают хороших мальчиков в церковных журналах, и мне известно, что однажды какой-то матрос остановил его на улице и отчитал за то, что тот выразился недостаточно деликатно.

Вместе с матерью и малышом-братом, болезненным пятимесячным младенцем, он жил в подвале в одном из переулков вблизи улицы Трех жеребцов. Не знаю, куда девался его отец. Скорее всего, думается мне, он стал «вновь обращенным» и отправился в турне читать проповеди. Мальчишка служил посыльным и зарабатывал шесть шиллингов в неделю, а мать шила штаны и в дни, когда у нее хватало сил, была в состоянии заработать десять пенсов или даже шиллинг. К несчастью, бывали дни, когда четыре голые стены кружились перед ее глазами, гоняясь одна за другой, и она была так слаба, что свет свечи слабым пятнышком маячил где-то в отдалении; и это случалось настолько часто, что недельный бюджет семьи становился все мизерней.

Однажды вечером стены плясали вокруг все быстрее и быстрее, пока совсем не умчались в пляске, а свеча пробила потолок и превратилась в звезду, и женщина поняла, что настало время отложить в сторону шитье.

«Джим, — сказала она; она говорила очень тихо, и мальчику пришлось наклониться к ней, чтобы услышать ее, — в матраце ты найдешь несколько фунтов стерлингов. Я уже давно скопила их. Этого хватит, чтобы похоронить меня. И ты, Джим, позаботишься о малыше. Ты не допустишь, чтобы его забрали в приходский приют».

Джим обещал.

«Скажи: „И да поможет мне бог“, Джим». «И да поможет мне бог, мама».

И женщина, устроив свои земные дела, откинулась назад, готовая ко всему, и Смерть нанесла свой удар.

Джим сдержал слово. Он отыскал деньги и похоронил мать, потом, сложив скарб на тачку, перебирался на более дешевую квартирку-это была половина старого сарая, и он платил за нее два шиллинга в неделю.

Полтора года он и малыш жили здесь. Каждое утро Джим относил ребенка в ясли и забирал его оттуда каждый вечер, возвращаясь с работы; включая небольшую порцию молока, он платил в эти ясли четыре пенса в день. Не знаю, как ему удалось кормиться самому и впроголодь питать ребенка на оставшиеся у него два шиллинга. Знаю только, что ан делал это, и что ни одна душа не помогла ему, и никто даже не подумал, что он нуждается в помощи. Он нянчил ребенка, часами расхаживая с ним по комнате, иногда мыл его и по воскресеньям выносил на свежий воздух.

Несмотря на все это, несчастный малютка по истечении указанного выше срока «скапутился», — выражаясь словами Джима.

Следователь был весьма суров к Джиму.

«Бели бы ты предпринял необходимые шаги, — оказал он, — жизнь ребенка можно было бы спасти. (Следователь, по-видимому, полагал, что было бы лучше, если бы ребенку сохранили жизнь. У следователей бывают иногда престранные взгляды!) Почему ты не обратился к попечителю, который обязан помогать приходским беднякам?»

«Потому что я не желал никакой помощи, — угрюмо ответил Джим. — Я обещал матери, что не отдам его в приходский приют, и не отдал».

Вое это произошло в «мертвый сезон» и вечерние газеты раструбили об этом происшествии и устроили из него сенсацию. Помнится, Джим сделался настоящим героем. Добросердечные люди писали в газеты, требуя, чтобы кто-либо — домохозяин, или правительство, или кто иной — помог мальчику. И все поносили приходский совет. Я думаю, что Джим мог бы получить из всего этого некоторую выгоду, продлись интерес к его делу немного дольше. Но, к несчастью, в самый разгар газетной кампании подвернулся пикантный бракоразводный процесс, который оттеснил Джима на задний план, и о нем позабыли.

Я рассказал моим товарищам эту историю после того, так Джефсон закончил свою, а когда я умолк, оказалось, что уже почти час ночи. Разумеется, было слишком поздно продолжать работу над нашим романом.

Глава IV

Наша следующая деловая встреча состоялась в моем понтонном домике. Первоначально Браун вообще возражал против моего переезда на реку: он считал, что никто из нас не вправе покидать город, пока мы не закончили роман.

Мак-Шонесси, наоборот, был того мнения, что нам будет лучше работать в плавучем доме. Он оказал, что больше всего чувствует себя способным создать по-настоящему великое произведение, когда лежит под глубокой синевой небес в гамаке, а кругом шумит листва и рядом стоит стакан с замороженным кларетом. За отсутствием гамака, шезлонг, по его мнению, тоже мог служить превосходным стимулом к умственному труду. В интересах романа он настоятельно рекомендовал мне захватить с собой на понтон запас лимонов и по меньшей мере один шезлонг.

Сам я не видел никаких причин, которые могли бы помешать нам мыслить на понтоне столь же успешно, как и в любом другом месте, а потому было решено, что я устроюсь в нашем речном доме, а остальные станут время от времени навещать меня, и тогда мы и будем совместно трудиться.

Мысль о понтонном домике принадлежала Этельберте. Прошлым летом мы провели целый день в таком домике, принадлежащем одному из моих друзей, и Этельберта была очарована. Все здесь было таким очаровательно крохотным. Вы живете в крохотной комнатке, спите в крохотной кроватке в крохотной-крохотной спаленке и варите обедик на крохотном огоньке в самой крохотной кухоньке, какую когда-либо видели.

«О, жить на понтоне просто чудесно, — заявила Этельберта в полном восторге, — это все равно что жить в кукольном домике».

В поезде, на обратном пути, Этельберта и я обсудили этот вопрос и решили, что на будущий год мы сами приобретем речной дом, — по возможности даже меньший, чем тот, который мы только что видели. Там должны быть разрисованные занавески из муслина, и флаг, и цветы: дикие розы и незабудки. Я могу работать все утро на палубе, под защитой тента, а Этельберта будет ухаживать за розами и готовить печенье к чаю; вечером мы расположимся на маленькой палубе и Этельберта поиграет на гитаре (она немедленно начнет брать уроки) или же мы будем сидеть молча и внимать соловьям.

В молодости все мы воображаем, будто лето — сплошь солнечные дни

и лунные ночи, когда веет легкий западный ветерок и повсюду буйно растут розы. Но, повзрослев, мы вскоре устаем ожидать, когда же разойдется серый покров на небе. Мы закрываем дверь, входим в комнату, жмемся к огню и недоумеваем, почему это ветер непрестанно дует с востока, и, конечно, меньше всего думаем разводить розы.

Я знал одну молоденькую девушку, служанку па ферме, которая на протяжении многих месяцев откладывала деньги на новое платье, чтобы пойти в нем на праздник цветов. Но в день праздника стояла дождливая погода и вместо нового платья девушке пришлось надеть старое, поношенное. Все следующие праздничные дни тоже были дождливые, а потому девушка начала побаиваться, что ей никогда не представится случай надеть прелестное белое платье. Наконец в один из праздников выдалось ясное, солнечное утро, и тогда девушка захлопала в ладоши и побежала к себе в комнату, чтобы достать новое платье (которое было новым так долго, что теперь превратилось в самое старое из ее платьев) из сундука, где оно лежало, аккуратно свернутое и переложенное ветками лаванды и тимпана, и она любовалась им и смеялась при мысли о том, как мило будет выглядеть в нем.

Но когда она попробовала его надеть, оказалось, что она из него выросла и платье узко. В конце концов ей пришлось надеть обыкновенное старое платье.

Вот так оно и бывает в нашем мире. Жили некогда юноша и девушка. Они горячо любили друг друга, но оба были бедны и потому условились ждать, пока юноша заработает столько денег, сколько надобно, чтобы жить в достатке, после чего они повенчаются и будут наслаждаться счастьем. У него ушло на это очень много времени, ибо деньги околачиваются чересчур медленно, и раз уж он этим занялся, надо было заработать много, чтобы он и девушка могли быть по-настоящему счастливы. Так или иначе, юноша достиг своей цели и вернулся домой самостоятельным человеком.

И они снова встретились в бедно обставленной гостиной, где когда-то расстались. Но они уже не уселись рядышком, близко друг к другу, как прежде. Она так долго жила одна, что превратилась в старую деву и сердилась на него за то, что он наследил на ковре грязными башмаками. А он так долго трудился, зарабатывая деньги, что сделался жестким и холодным, подобно самим деньгам, и не мог придумать, какие ласковые слова сказать ей.

Так они сидели некоторое время у бумажного экрана перед камином и удивлялись, почему когда-то, в дань прощания, проливали жгучие слезы. Потом они снова попрощались и были рады этому.

Существует другой рассказ с почти такой же моралью — я вычитал его еще школьникам в тетради с прописями. Если память мне не изменяет, вот как обстояло дело.

Жили некогда мудрый кузнечик и глупый муравей. Все лето напреет кузнечик резвился и играл, прыгая со своими товарищами среди солнечных лучей, роскошно обедая каждый день листьями деревьев и каплями росы, не тревожась о завтрашнем дне и неизменно распевая свою единственную мирную песенку.

Но настала суровая зима, и кузнечик, поглядев кругом, увидел, что его друзья-цветы лежат мертвыми, и понял, что его собственная короткая жизнь тоже близится к концу.

Он обрадовался тому, что сумел насладиться счастьем и что жизнь его не пропала зря. «Она была коротка, — сказал он себе, — но приятна, и мне кажется, что я использовал ее как нельзя лучше. Я купался в солнечных лучах, мягкий теплый воздух ласкал меня, я забавлялся веселой игрой среди колышущейся травы и лакомился соком сладких зеленых листьев. Я сделал все что мог. Я парил на своих крыльях и пел свою песню. Теперь я поблагодарю господа за былые солнечные дни и умру».

Сказав это, он заполз под побуревший лист и встретил свою судьбу так, как подобает всякому отважному кузнечику, и пролетавшая маленькая птичка нежно клюнула его и… справила его похороны.

Когда глупый муравей увидел это, он преисполнился фарисейского самодовольства. «Мне следует быть благодарным, — оказал он, — за то, что я трудолюбив и благоразумен и не похож на этого бедного кузнечика. Пока он наслаждался, прыгая с цветка на цветок, я усердно трудился, собирая запасы на зиму. Теперь он мертв, а я буду благоденствовать в своем теплом доме и кушать все те вкусные вещи, которые припас».

Но пока он говорил это, пришел садовник с лопатой и сравнял с землею бугор, где жил муравей, и тот остался лежать мертвым среди развалин.

Потом та же милая маленькая птичка, которая похоронила кузнечика, прилетела н, подхватив муравья, похоронила и его. А потом она сочинила и спела песенку, смысл которой состоял в следующем: «Срывайте радости цветы, пока они цветут». Это была славшая песенка и очень мудрая. К счастью, в то время жил человек, которого птицы любили, чувствуя, что он им сродни, и научили своему языку. Он подслушал эту песню и записал, так что теперь все могут прочесть ее.

Но, к несчастью, судьба — суровая гувернантка, и ей не нравится наше пристрастие к цветам радости. «Детки, не задерживайтесь, не рвите

сейчас цветы, — жричит она резким сердитым голосом, схватив нас за руну, и тащит обратно на дорогу, — сегодня нам некогда. Мы вернемся сюда завтра, и тогда вы можете рвать их сколыйо угодно».

И детки послушно следуют за ней, хотя те из нас, кто поопытнее, знают, что, вероятнее всего, мы никогда больше сюда не вернемся, а если и вернемся, то цветы к тому времени увянут.

Судьба не хотела и слышать о том, чтобы мы приобрели речной дом тем летом, — кстати, лето было исключительно хорошим, — но пообещала нам, что если мы будем веотн себя хорошо и скопим достаточно денег, то у нас будет речной дом в будущем году, а Этельберта и я, будучи простодушными и неопытными детьми, удовольствовались этим обещанием и верили в то, что оно осуществится.

Сразу по возвращении домой мы сообщили Аменде наш план. Едва она успела открыть нам дверь, Этельберта выпалила:

«Вы умеете плавать, Аменда?»

«Нет, мэм, — ответила Аменда, даже не поинтересовавшись, почему к ней обратились с подобным вопросом. — Я знала только одну девушку, которая умела плавать, да и та утонула».

«В таком случае вам необходимо скорее научиться, — продолжала Этельберта.-Теперь, если вы захотите прогуляться с вашим молодым человеком, вам сперва придется немного проплыть. Мы больше не будем жить в обыкновенном доме. Мы намерены поселиться на лодке посредине реки».

В этот период Этельберта считала своей главной задачей всячески удивлять н шокировать Аменду, и главным источником ее огорчений было то, что это никогда ей не удавалось. Она ожидала многого от своего сообщения, но девушка осталась совершенно спокойной.

«Вот как, мэм», — ответила она н заговорила о другом.

Полагаю, результат был бы тот же, если б мы сообщили Аменде, что намерены жить на воздушном шаре.

Аменда была (всегда крайне почтительна в обращении. Но, сам не знаю, как и почему, она умела дать почувствовать Этельберте и мне, что мы — двое детей, которые играют и притворяются взрослыми н женатыми, а она просто ублажает нас.

Аменда прожила у нас около пяти лет, — пока молочник, скопив достаточно денег для того, чтобы приобрести собственную лавочку, не стал для нее подходящей партией, — но ни разу она не изменила своего отношения к нам. Даже тогда, когда мы превратились в почтенную супружескую чету и у нас появились дети, было ясно, что, в ее глазах, мы

просто усложнили игру и теперь играем в «папу-маму».

Каким-то непонятным образом ей удалось внушить эту мысль и нашей малышке. Девочка, как мне кажется, никогда не принимала нас всерьез. Она могла играть с нами или участвовать в легком разговоре, но во всем, что касалось серьезных жизненных дел, — как, например, купанье или еда, — она предпочитала няньку.

Как-то утром Этельберта пыталась вывезти дочку на прогулку в колясочке, но ребенок не хотел и слышать об этом.

«Все в порядке, детка, — льстиво разъясняла ей Этельберта, — сегодня детка отправится гулять с мамочкой».

«Нет, — возражала девочка, если не словами, то действием. — Детка не хочет принимать участие в подобных экспериментах! Ее не обманешь! Я не желаю, чтобы меня опрокинули или переехали!»

Бедная Этель! Мне никогда не забыть, как она была расстроена. Больше всего ее огорчило отсутствие доверия.

Однако эти воспоминания относятся к другим дням, не имеющим ничего общего с теми, о которых я пишу (или должен писать), а перескакивать с сюжета на сюжет-это непростительный прах для рассказчика и заслуживает осуждения, хотя все более входит в обычай. Поэтому я отброшу все другие воспоминания и постараюсь хранить перед своим взором только маленький, белый с зеленым понтонный домик без парома, арену наших дальнейших авторских усилий.

Речные дома в те дни еще не достигали размера пароходов, плавающих по Миссисипи, а были совсем маленькими, даже по масштабам того первобытного времени. Хозяин арендованного нами домика называл его «компактным». Тот, кому мы в конце первого месяца пытались переуступить его, охарактеризовал его как «курятник». В наших письмах мы старательно обходили это определение. В глубине души мы соглашались с ним.

Однако первоначально раэмер его — или, вернее, отсутствие размера — был в глазах Этельберты одной из самых привлекательных сторон. То обстоятельство, что, выбравшись из постели, вы неизбежно стукались головой о потолок и что мужчине, кроме гостиной, негде было натянуть штаны, Этельберта считала остроумнейшей шуткой.

То, что ей самой приходилось, захватив с собой зеркало, отправляться на палубу, чтобы расчесать волосы, она находила менее забавным.

Аменда отнеслась к новой обстановке с присущим ей философским безразличием. Когда ей объяснили, что приспособление, ошибочно принятое ею за пресс для выжимания белья, является ее спальней, она

обнаружила в этом одно преимущество, а именно: невозможность свалиться с кровати, так как падать некуда; а когда ей показали кухню, она заявила, что кухня нравится ей по двум причинам: во-первых, сидя в центре кухни, она может, не вставая, дотянуться до всего необходимого, и, во-вторых, никто не может войти в помещение, пока она находится там.

— Видите ли, Аменда, — объясняла Этельберта, как бы извиняясь, — большую часть времени мы будем проводить на лоне природы.

— Да, мэм, — ответила Аменда, — пожалуй, лучше даже проводить там все время!

Будь у нас возможность проводить больше времени на лоне природы, жизнь, я полагаю, была бы довольно приятной, сто шесть дней из семи погода позволяла нам только глядеть в окно и благодарить судьбу за то, что у нас имеется крыша над головой.

И до и после мне пришлось пережить не одно дождливое лето. На основами горького опыта я узнал, как опасно и глупо покидать лондонский кров между первым мая и тридцать первым октября. Действительно, пребывание за городом всегда связано у меня с воспоминаниями о длинных томительных днях, когда безжалостно льет дождь, и о безрадостных вечерах, которые приходилось просиживать, напялив на себя чужое пальто. Но никогда я не знавал, и, надеюсь, никогда больше (об этом я молю небо утром и вечером) мне не придется испытать лета, подобного прожитому нами в этом чертовом речном доме.

По утрам нас будил дождь. Он врывался через окно, заливал нашу постель и, проникнув в кают-компанию, обходил ее с мокрой шваброй. После завтрака я пытался работать, но щелканье града по крыше над моей головой вышибало какую бы то ни было мысль из мозгов, так что, бесплодно просидев час-другой, я швырял в сторону перо, разыскивал Этельберту, и мы, надев плащи и вооружать зонтиками, отправлялись на прогулку в лодке. В полдень мы возвращались, переодевались во что-нибудь сухое и садились обедать.

После полудня дождь, как правило, усиливался и мы с полотенцами и одеялами в руках бегали взад и вперед, пытаясь помешать воде затопить жилые помещения. Во время чаепития кают-компанию обычно освещали раздвоенные молнии. Вечера уходили на уборку, а потом мы поочередно отправлялись в кухню погреться. В восемь часов вечера мы ужинали и, пока не наступало время ложиться в постель, сидели, закутавшись в пледы, прислушиваюсь к раскатам грома, вою ветра и плеску волн, тревожась, уцелеет ли в эту ночь наш понтон.

Иногда к нам приезжали погостить знакомые — пожилые,

раздражительные люди, обожающие тепло и комфорт; люди, которые отнюдь не стремились к увеселительным прогулкам даже при самых благоприятных обстоятельствах, но которых наша глупая болтовня убедила, что день проведенный на реке, будет для них райским отдыхом.

Они прибывали к нам, промокнув насквозь, и приходилось рассовывать их по разным углам и оставлять в одиночестве, чтобы они могли переодеться в мою или Этельбертнну одежду. Но Этель и я в те дни были стройными, так что эти подлые люди средних лет в нашей одежде выглядели прескверно и чувствовали себя несчастными.

Потом мы приглашали их в гостиную и пытались занять разговорами о том, как приятно мы провели бы время, будь погода хорошей. Но они отвечали только «да» и «нет», а иногда огрызались. Вскоре беседа замирала, и мы продолжали сидеть, читая газеты недельной давности и покашливая.

Как только их собственное платье высыхало (мы неизменно жили среди испарений сохнущей одежды), они настаивали на немедленном отъезде, и это казалось мне несколько невежливым после всего, что мы для них сделали. Переодевшись, гости спешили домой, чтобы еще раз промокнуть на обратном пути.

Обычно несколько дней спустя мы получали от кого-либо из наших родственников письмо с сообщением, что оба пострадавших чувствуют себя хорошо, насколько возможно, и обещают прислать нам приглашение на похороны в случае рецидива.

Единственным нашим утешением и заботой в долгие недели затворничества был открывающийся из окна вид на реку с проплывающими мимо нас маленькими открытыми лодочками, где находились ищущие развлечений горожане. Глядя на них, мы размышляли, какой ужасный день они Прожили (или проживут, — в зависимости от обстоятельств).

До полудня они плыли вверх по реке — молодые люди со своими возлюбленными; племянники, вывозившие богатых старых тетушек; мужья и жены парами или в нечетном количестве; изящно одетые девушки с кузенами; энергичного вида мужчины в сопровождении собак; молчаливые великосветские компании; шумливые мещанские компании; вечно ссорящиеся семейные кампании, — лодка за лодкой они проплывали мимо нас, промокнув, но не теряя надежды, показывая друг другу пальцем на голубые просветы в небе.

По вечерам они возвращались промокшие до нитки и унылые, говоря друг другу разные неприятные слова

Лишь одна чета — единственная из многих сотен, которые мы наблюдали, — возвращалась обратно после испытания в хорошем настроении. Он усердно греб и пел, повязав носовой платок вокруг головы, чтобы не унесло шляпу, а она улыбалась ему, стараясь одной рукой удержать зонтик, а другой управлять лодкой.

Можно найти только два объяснения того, почему люди бывают веселыми на реке во время дождя. Одно из них я отверг, так как оно невероятно и говорит не в пользу людей. Второе — говорит в их пользу, и, приняв его, я поклонился этой промокшей, но веселой паре, когда она проплывала мимо. В ответ они помахали рукой, и я долго смотрел им вслед, пока они не скрылись в дымке.

Я склонен думать, что эти молодые люди счастливы и до сих пор, если они живы. Может, судьба была милостива к ним, может — нет, но в любом случае я склонен думать, они счастливее большинства людей.

Шторм бушевал ежедневно с такой яростью, что иногда, преждевременно истощив силы, отказывался от своих намерений. В этих редких случаях мы сидели на палубе и наслаждались непривычной роскошью — дышали свежим воздухом.

Я хорошо помню эти редкие приятные вечера: река, светящаяся изнутри от затонувшего в ней света, желтые отмели, в которых таится ночь, небо, выметенное штормом, кое-где украшенное звездами, подобными драгоценностям.

Было восхитительно приятно в течение часа или двух не слышать сердитого стука дождя и лишь внимать плеску рыб и легкому шуму воды, вызванному какой-нибудь, водяной крысой, украдкой пробирающейся среди тростников, или прислушиваться к непрестанному щебету немногочисленных, еще не заснувших птиц.

Вблизи от нас жил старый коростель. Он самым возмутительным образом будоражил всех остальных птиц и мешал им спать. Аменда, которая выросла в городе, сначала приняла его за дешевый будильник и недоумевала, кто его заводит и почему это делают всю ночь напролет, — а главное, почему его не смазывают.

За свой непристойный концерт он принимался с наступлением сумерек, как раз в то время, когда любая порядочная птица готовится к ночному отдыху. В нескольких ярдах от его жилища гнездилось семейство дроздов, и коростель приводил их в неистовство.

— Этот дурак снова принялся за свое, — говорила дроздиха. — Если ему непременно хочется трещать, почему он не может делать это днем? (Разумеется, говорила она на языке птичьего щебета, но я убежден, что даю

точный перевод.)

Спустя некоторое время молодые дрозды просыпались и начинали чирикать, и тогда мать прямо бесилась от гнева.

— Неужели ты не можешь сказать ему что-нибудь? — возмущенно кричала она своему супругу. — Разве, по-твоему, бедные малютки могут спать, когда всю ночь продолжается этот отвратительный шум? Живешь словно на лесопилке.

Тогда дрозд-самец высовывал голову из гнезда и кричал взволнованно, но вежливо:

— Эй, как вас там, послушайте! Не можете ли вы успокоиться хоть на минуту! Моя жена говорит, что дети не в состоянии заснуть. Это нехорошо с вашей стороны, честное слово!

— Заткнись! — громко Отвечал ему коростель. — Лучше заставь молчать свою жену. Тебе и с ней-то не справиться.

И он продолжал трещать громче прежнего. Тогда вмешивалась в ссору черная дроздиха, жившая несколько поодаль.

— Его надо хорошенько отлупить, а не разговаривать с ним. Если бы я была мужчиной, я так бы и поступила. (Это замечание дроздиха делала тоном уничтожающего презрения, и, по-видимому, оно находилось в связи с некой предшествующей дискуссией.)

— Вы совершенно правы, мадам, — отвечала соседка. — Именно это я и твержу своему мужу, но он (голос все повышался, так что слышать ее могла любая леди в окрестности), но он не двинется с места-о нет! — даже если бы я и дети умирали перед его глазами от всех этих бессонных ночей.

— Он не исключение, дорогая, — высвистывала черная дроздиха, — все они таковы! — и продолжала скорее огорченно, нежели сердито. — Но можно ли их, несчастных, винить? Кто лишен настоящей птичей души, не волен над собой!

Я напряг слух, чтобы услыхать, прошибли ли эти колкости черного дрозда, но с его стороны доносился лишь явно подчеркнутый храп.

К этому времени все птицы на прогалине уже бодрствовали, выражая по адресу коростеля суждения, которые могли бы задеть менее черствую натуру.

— Разрази меня гром, Биль, — чирикал какой-то нахальный луговой воробей, и голос его покрывал общий галдеж, — если этот джентльмен не воображает, будто он поет!

— Не его вина, — отвечал Биль с издевательским сочувствием. — Кто-то сунул монету в щелку, и он сам уже не в состоянии остановиться.

Взбешенный смехом молодых птиц, коростель старался доставить

всем еще больше, неприятностей и принимался с изумительным, совершенством изображать, как точат заржавевшую пилу стальным напильником. Но тут старый ворон, с которым опасно было шутить, сердито кричал:

— Довольно! Прекратить! Или я спущусь и клюну тебя так, что твоя дурацкая башка слетит с плеч!

И тут на четверть часа наступала тишина, но потом все начиналось сызнова.

Глава V

Браун и Мак-Шонесси приехали вместе в субботу вечером. Едва они успели обсохнуть и напиться чаю, как мы принялись за работу.

Джефсон прислал открытку, где писал, что присоединится к нам только поздно вечером. Браун предложил до его приезда заняться сюжетом.

— Пусть каждый из нас, — сказал он, — придумает, сюжет. Потом мы сравним их и выберем лучший.

Так мы и поступили. Сюжеты я позабыл, но помню. что при последовавшем отборе каждый настаивал на своем собственном и так обиделся за жестокую критику, которой подвергся со стороны остальных, что разорвал запись в клочья. Следующие полчаса мы сидели и курили молча.

Когда я был. молод, я жаждал услышать чужое мнение обо мне и обо всем, созданном мною; теперь я больше всего стремлюсь к тому, чтобы как-нибудь уклониться от этого. Если в те времена мне сообщали, что где-то обо мне напечатано полстроки, я готов был исходить пешком весь Лондон, чтобы добыть экземпляр газеты. Теперь, при виде целого столбца, в заголовке которого красуется мое имя, я спешно свертываю газету, откладываю ее в сторону и, подавляя естественное желание узнать, что там написано, говорю: «Зачем это тебе? Это только выбьет тебя из колеи на весь день».

В юности у меня был друг. С тех пор в мою жизнь входили другие друзья — подчас весьма дорогие и близкие мне, — но ни один из них не стал для меня тем, чем был тот… Ибо он был моим первым другом, и мы жили с ним в мире, который был просторнее нынешнего: в том мире было больше и радости и горя, и в нем мы любили и ненавидели глубже, чем любим и ненавидим в более тесном мирке, где мне приходится существовать теперь.

У моего друга была страсть, свойственная многим молодым людям: он обожал, чтобы его критиковали, и у нас стало обычаем оказывать друг другу это внимание. В то время мы не знали, что, прося о «критике», имели в виду одобрение. Мы думали, что сильны — это обычно бывает в начале боя — и в состоянии выслушивать правду.

Согласно, установившемуся обычаю, каждый из нас указывал другому на его ошибки, и мы были так заняты этим, что нам не хватало времени

сказать друг другу слово похвалы.

Я убежден, что каждый из нас держался самого высокого мнения о таланте своего друга, но наши головы были начинены глупыми поговорками. Мы говорили себе: «Хвалить будут многие, но только друг скажет вам правду». Мы говорили также: «Никто не видит собственных недостатков, но если кто-либо другой указывает на них, нужно быть благодарным и стараться избавиться от них».

Когда мы лучше познакомились с миром, мы поняли обманчивость подобных представлений. Но было слишком поздно, так как зло уже свершилось.

Написав что-либо, каждый из нас читал свое произведение другому и, окончив чтение, говорил: «Теперь скажи мне, что ты думаешь об этом, — откровенно, как друг».

Таковы были слова. Но в мыслях у каждого, хотя он мог и не знать этого, было:

«Скажи мне, что это умно и хорошо, друг мой, даже если ты не думаешь так. Мир очень жесток к тем, кто еще не завоевал его, и хотя мы и напускаем на себя беззаботный вид, наши юные сердца кровоточат. Часто мы устаем и становимся малодушными. Разве это не так, друг мой? Никто не верит в нас, и в часы отчаянья мы сами сомневаемся в себе. Ты мой товарищ. Ты знаешь, как много собственных чувств и мыслей я вложил в это произведение, которое другие лениво перелистают за полчаса. Скажи мне, что оно удалось, друг мой! Одобри меня хоть немного, прошу тебя!»

Но другой, полный критического азарта, который у цивилизованных людей подменяет жестокость, отвечает скорее откровенно, нежели по-дружески. Тогда автор сердито вспыхивает и обменивается со своим критиком гневными репликами.

Как-то вечером друг прочел мне свою пьесу. В ней было много хорошего, но были и промахи (бывают же пьесы с промахами); их-то я подхватил и стал потешаться над ними. Я не мог бы отнестись к пьесе более едко, будь я даже профессиональным критиком.

Едва я прекратил это развлечение, как он вскочил, схватил со стола рукопись, разорвал ее пополам и швырнул в огонь (он был очень молод, этого нельзя забывать), а потом, стоя передо мной с побелевшим лицом, высказал мне, без всякой просьбы с моей стороны, все, что думал обо мне и о моем искусстве. Пожалуй, незачем говорить, что после этого двойного происшествия мы расстались в сильном гневе.

Я не видел его много лет. Дороги жизни многолюдны, и если мы выпустили чью-то руку, нас скоро оттеснят далеко в сторону. Снова я

встретил его случайно.

Выйдя из Уайтхолла после банкета и радостно вдыхая свежий воздух, я направился домой по набережной. Кто-то тяжелой поступью плелся под деревьями и остановился, когда я поравнялся с ним.

«Вы не могли бы дать мне огонька, хозяин?» — слова прозвучали странно и как-то не гармонировали с фигурой говорившего.

Я чиркнул спичку и подал незнакомцу, прикрыв рукой язычок пламени от ветра. Когда слабый огонек осветил его лицо, я отшатнулся и выронил спичку:

«Гарри!»

Он ответил коротким сухим смешком.

«Не знал, что это ты, — сказал он. — Я не остановил бы тебя».

«Как ты дошел до этого, старина?» — спросил я, кладя руку ему на плечо. Его пальто было грязное, засаленное, и я, поскорее отдернув руку, постарался незаметно вытереть ее носовым платком.

«О, это длинная история, — небрежно ответил он, и слишком банальная, чтобы ее стоило рассказывать. Некоторые поднимаются, как тебе известной А некоторые опускаются. Говорят, у тебя дела идут неплохо».

«Пожалуй, — ответил я, — я влез на несколько футов вверх по обмазанному салом столбу и теперь стараюсь удержаться. Но мы говорим о тебе. Не могу ли я что-нибудь сделать для тебя?».

В это мгновение мы проходили под газовым фонарем. Он наклонился ко мне, наши головы сблизились, и свет ярко и безжалостно осветил его лицо.

«Разве я похож на человека, для которого ты можешь что-нибудь сделать?» — спросил он.

Мы молча шли бок о бок, и я придумывал слова, которые могли бы произвести на него впечатление.

«Не беспокойся обо мне, — снова заговорил он, помолчав, — я чувствую себя достаточно хорошо. Там, куда я опустился, на жизнь смотрят просто. У нас не бывает разочарований».

«Почему ты бежал, как жалкий трус? — вспылил я. — У тебя был талант. Ты пробился бы, если б проявил больше упорства».

«Возможно, — ответил он тем же ровным безразличным тоном.- Вероятно, у меня не было нужной хватки. Думаю, что если бы кто-нибудь поверил в меня, это могло бы помочь мне. Но никто в меня не поверил, и в конце концов я сам утратил веру в себя. А когда человек теряет веру в себя, он подобен воздушному шару, из которого улетучился газ».

Я слушал его, возмущаясь и удивляясь. «Никто не верил в тебя! — повторил я. — Но я-то, я всегда верил в тебя, ты это знаешь. Я…»

Тут я умолк, вспомнив нашу взаимную «откровенную критику».

«В самом деле? — спокойно возразил он. — Ты никогда мне не говорил этого. Прощай.»

Двигаясь по направлению к Стрэнду, мы дошли до окрестностей Савоя, и он скрылся в одном из темных проходов.

Я поспешил за ним, окликая его по имени, и хотя некоторое время мне казалось, что я слышу впереди его шаги, вскоре они слились со звуками других шагов, так что, когда я добрался до площади, где стоит часовня, я потерял его след.

Возле церковной ограды стоял полисмен. Я обратился к нему с расспросами.

«Как выглядел это джентльмен, сэр?» — спросил он. «Высокий, худой, очень грязно одетый, — его можно было принять за бродягу».

«О, таких в городе много. Боюсь, что вам будет трудно разыскать его», — ответил полицейский.

Так я во второй раз услыхал, как замирали вдали шаги моего друга, и знал, что больше никогда не услышу их приближения.

Продолжая путь, я раздумывал, — так же, как делал это и прежде и потом, — стоит ли Искусство, даже с прописной буквы, всех тех страданий, которые оно влечет за собою, выигрывает ли оно и становимся ли мы лучше благодаря той массе презрения и насмешек, зависти и ненависти, которые валятся на нас во имя его.

Джефсон прибыл около девяти часов вечера на пароме. О его прибытии нас оповестило то обстоятельство, что мы стукнулись головами о стены гостиной.

Кто-нибудь неизменно стукался головой всякий раз, когда причаливал паром. Это была тяжелая неповоротливая махина, а мальчишка-паромщик не ахти как умел работать шестом. Он откровенно признавался в этом, — что говорило в его пользу. Но он и не пытался исправиться, и это было ошибкой с его стороны. Его метод состоял в том, что он нацеливал свой паром прямо на ту точку, к которой собирался пристать, а потом, не оглядываясь, изо всех сил отталкивался шестом до тех пор, пока что-нибудь внезапно его не останавливало. Иногда это бывала отмель, иногда лодка, случалось — и пароход, а от шести до двенадцати раз в день — наше речное жилье. То обстоятельство. что ему ни разу не удалось пробить борт нашего понтона, заставляет отнестись с уважением к человеку, который его строил.

Однажды паром с ужасным грохотом пристал к нашему борту. Аменда в это мгновение шла по коридору и в результате сильно стукнулась головой о стенку, сперва слева, а потом справа.

Надо сказать, что она привыкла получать один удар в качестве сигнала, что мальчишка-паромщик прибыл; но двойной удар вывел ее из себя: это было слишком большой роскошью для простого мальчишки-паромщика. Поэтому она выскочила на палубу в ужасном гневе.

— Ты что думаешь? — кричала она, расплачиваясь с ним оплеухами слева и справа. — Воображаешь, что ты торпеда? И вообще, зачем ты здесь? Что тебе надо?

— Мне ничего не надо, — ответил парень, потирая уши, — я привез джентльмена.

— Джентльмена? — переспросила Аменда, оглядываясь, потому что не видела никого. — Какого джентльмена?

— Толстого джентльмена в соломенной шляпе, — отвечал паренек, растерянно озираясь.

— Где же он? — спросила Аменда.

— Не знаю, — испугался паренек. — Он стоял там, на Другом конце парома, и курил сигару.

В это мгновение из воды показалась голова и запыхавшийся, но разъяренный пловец стал пробираться вброд к нашему понтону.

— О, вот он! — заорал в восторге мальчишка, видимо испытывая облегчение оттого, что загадка благополучно разрешилась, — он, должно быть, свалился с парома!

— Ты совершенно прав, дружок, и вот тебе за то, что ты помог мне в этом!

И мой промокший до нитки друг, забравшись на палубу, тут же перегнулся за борт и, следуя превосходному примеру Аменды, излил свои чувства, надрав паромщику уши.

Во всей этой истории нас утешало то обстоятельство, что мальчишка-паромщик получил наконец по заслугам. Часто мне самому ужасно хотелось задать ему трепку. Мне кажется, что он, без преувеличения, был самым неуклюжим и тупым парнем, с каким мне когда-либо доводилось сталкиваться, а сказать так — значит сказать очень много.

Как-то его мать предложила, чтобы он за три шиллинга и шесть пенсов в неделю каждое утро «помогал — нам чем может».

Таковы были подлинные слова его матери, и я повторил их Аменде, знакомя ее с мальчишкой.

«Это Джеймс, Аменда, — сказал я, — он будет приезжать ежедневно в

семь часов утра и привозить молоко и письма, а потом до девяти часов он будет помогать нам чем может».

Аменда оглядела его.

«Для него это будет непривычным занятием, сэр, судя по его виду», — заметила она.

И с тех пор всякий раз, когда особо зловещий треск или грохот заставлял нас вскакивать с места и восклицать: «Что там произошло?» — Аменда неизменно отвечала: «О мэм, это Джеймс помогает чем может».

Он ронял все, что бы ни пытался поднять, опрокидывал все, к чему прикасался, сбрасывал все, к чему приближался и что не было прикреплено намертво, — а если оно было прикреплено намертво, падал сам: это был не результат небрежности с его стороны, а, по-видимому, врожденный недостаток. Я убежден, что никогда за всю жизнь ему не удалось донести ведро воды, не разлив его по дороге. Одной из обязанностей Джеймса было поливать цветы на палубе. К счастью для цветов, Природа в то лето поставляла даровую выпивку со щедростью, которая могла удовлетворить самого отъявленного пропойцу из мира растений; в противном случае на нашем понтоне не осталось бы ни одного цветка — все они засохли бы. Цветам никогда не доставалось от Джеймса ни капли. Воду он им носил, но никогда не доносил до места. Как правило, он опрокидывал ведро до того, как поднимал его на борт, и это было лучшее из всего, что могло случиться, потому что вода попросту возвращалась в реку, не причинив никому вреда. Изредка ему все же удавалось поднять ведро на борт, и тогда он чаще всего опрокидывал его на палубу или в коридор. Карабкаясь по лесенке на крышу каюты, он иногда взбирался до половины раньше, чем происходила катастрофа. Дважды он почти достиг верха и однажды добрался до самой крыши. Что произошло здесь в тот памятный день, навсегда останется неизвестным. Сам Джеймс, когда его подняли на ноги, не мог дать никакого объяснения. Надо полагать, что, возгордясь своим необычайным достижением, он потерял голову и попытался свершить подвиги, недоступные ему ни по жизненному опыту, ни по врожденным способностям. Как бы то ни было, факт остается фактом: большая часть воды пролилась в кухонную трубу, а сам парень и пустое ведро очутились на палубе прежде, чем кто-либо понял, как это случилось.

Если ему больше нечего было опрокинуть, он делал все возможное, чтобы опрокинуть самого себя. Он не мог с уверенностью переступить с парома на понтон. В пятидесяти случаях из ста он ухитрялся зацепить ногой за цепь или за шест парома и, падая, обтирал грудью палубу.

Аменда сочувствовала ему.

«Как твоей матери не стыдно!» — услыхал я как-то утром ее слова, обращенные к нему. — Она так и не научила тебя ходить. Тебя до сих пор надо водить на полотенце».

Он был услужливый паренек, но туп до умопомрачения. В тот год на небе появилась комета, и все только и говорили, что о ней. Однажды Джимми сказал мне:

«Говорят, скоро здесь будет комета, сэр?» — Он сказал это так, словно речь шла о цирковом представлении.

«Будет! — ответил я. — Она уже здесь. Разве ты не видел ее?»

«Нет, сэр».

«Тогда посмотри на нее сегодня вечером. Это очень интересно».

«Да, сэр, мне хотелось бы посмотреть. Говорят, она с хвостом, сэр?»

«Да, у нее очень красивый хвост».

«Точно, сэр. Все говорят, что она хвостатая. А куда надо идти, чтобы увидеть ее?»

«Никуда не надо ходить. Ты увидишь ее в собственном саду в десять часов вечера».

Он поблагодарил меня и, споткнувшись о мешок с картофелем, плюхнулся головой вперед в свой паром и отчалил.

На следующее утро я спросил его, видел ли он комету. «Нет, сэр, я не нашел ее». «А ты искал?» «Да, сэр, искал. И очень долго».

«Как же ты не увидел ее? — воскликнул я. — Ночь была достаточно ясной. Где ты ее искал?»

«В нашем саду, сэр. Как вы мне сказали». «А где именно в саду? — вмешалась Аменда, которая случилась поблизости. — Под кустами крыжовника?» «Да… повсюду».

Оказалось, что он действительно искал ее: взял в конюшне фонарь и обшарил весь сад в поисках кометы.

Но свой собственный рекорд глупости он побил тремя неделями позже. Мак-Шонесси гостил тогда у нас и в пятницу вечером приготовил салат по рецепту, полученному от своей тетки. Разумеется, в субботу утром все мы были больны. Человек, отведавший блюда, приготовленного. Мак-Шонесси, неизменно заболевает. Есть люди, пытающиеся объяснить это глубокомысленными разговорами о «причинах и следствиях». Сам Мак-Шонесси настаивает, что это простое совпадение.

«Откуда вы можете знать, — говорит он, — что не заболели бы, если бы не кушали этого? Выглядите вы сейчас неважно, это очевидно, и мне вас жаль. Но неизвестно, что с вами было бы, если б вы не поели этого блюда: возможно, вы были бы уже покойником. Весьма вероятно, что я

спас вам жизнь».

И весь остаток дня он вел себя как человек, который спас вас от могилы.

Едва появился Джимми, я сразу вцепился в него. «Джимми, — сказал я, — немедленно беги в аптеку. Не останавливайся нигде. Попроси дать тебе лекарство от расстройства желудка, вызванного отравлением овощами. Попроси что-нибудь посильнее и столько, чтобы хватило на четверых. Не забудь: средство от отравления овощами. Спеши, а то будет поздно».

Мое волнение передалось парню. Он соскочил обратно на паром и стал отталкиваться изо всех сил. Достигнув берега, он исчез в направлении поселка.

Прошло полчаса, но Джимми не возвращался. Ни у кого не хватало энергии, чтобы отправиться вслед за ним. У нас было ровно столько сил, сколько нужно, чтобы сидеть и вяло ругать его. По истечении часа мы все почувствовали себя много лучше. Когда прошло полтора часа, мы были рады, что он не вернулся вовремя, и только интересовались, что с ним приключилось.

Вечером, проходя по деревне, мы увидели его сидящим у открытой двери родительского домика. Он сидел там, закутанный в шаль, и вид у него был больной, и измученный.

«Что с тобой, Джимми? — спросил я. — В чем дело? Отчего ты не вернулся утром?»

«Я не мог, сэр, — отвечал Джимми, — мне было так плохо. Мать заставила меня лечь в постель».

«Ты выглядел здоровым сегодня утром, — сказал я. — Отчего же тебе вдруг стало плохо?»

«От того лекарства, которое дал мне „мистер Джонс. Оно сразу свалило меня с ног“.

Догадка озарила мой мозг.

«А что ты сказал» Джимми, когда пришел к мистеру Джонсу?» — спросил я.

«То, что вы велели, сэр: чтобы он дал мне какое-нибудь лекарство от растительного отравления. И чтобы оно было посильнее и чтобы его хватило на четверых».

«А что он ответил?»

«Он сказал, что это вздор, придуманный вами, сэр, и что для начала мне достаточно порции на одного. Потом он спросил меня, не ел ли я снова зеленые яблоки».

«И ты сказал „да“?»

«Да, сэр, я сказал ему, что съел несколько штук, и он заявил, что лекарство поможет мне и что, по его мнению, это послужит мне хорошим уроком».

«А ты не подумал, Джимми, что речь шла вовсе не о тебе, что ты отлично себя чувствуешь и вовсе не нуждаешься в лекарстве?»

«Нет, сэр».

«И неужели даже в глубине твоего сознания не шевельнулось подозрение, Джимми?»

«Нет, сэр».

Люди, которые не встречали Джимми, не верят в эту историю. Они заявляют, что все ее предпосылки находятся в противоречии с законами, управляющими человеческой природой, что ее детали не соответствуют нормам вероятности. Те же; кто видел Джимми и разговаривал с ним, не сомневаются ни в одном моем слове.

Появление Джефсона — существовании которого, надеюсь, читатель еще не совсем забыл — значительно ободрило нас. Джефсон всегда чувствовал себя отлично, когда все шло как нельзя хуже.

Не то чтобы он старался на манер Марка Тапли казаться бодрее всего именно в тот момент, когда ему было особенно тяжело, — просто пустячные неудачи и несчастья искренне развлекали и вдохновляли его. Многие из нас умеют смеяться, вспоминая о пережитых неприятностях.

Джефсон был из философов более стойкого сорта: он умел извлекать удовольствие из неприятностей в тот самый момент, когда они происходили. Он приехал, промокнув насквозь, и посмеивался при мысли о том, что его угораздило отправиться в гости на реку в такую погоду.

Его благотворное влияние смягчило суровые черты наших лиц, а к ужину мы все — как надлежит истинным англичанам и англичанкам, желающим наслаждаться жизнью, — больше не думали о погоде.

Глава VI

— Кошки, — сказал Джефсон как-то вечером, когда мы сидели в понтонном домике, обсуждая сюжет романа, — кошки внушают мне огромное уважение. Кошки и неконформисты представляются мне единственными существами в мире, у которых совесть практически влияет на поступки. Понаблюдайте за кошкой, совершающей что-либо низкое и плохое, — если она когда-нибудь даст вам случай подглядеть за нею; заметьте, как она старается, чтобы никто не застал ее в это время; и как быстро она прикинется, будто вовсе не делала этого, что она даже и не собиралась это делать, что, напротив, она хотела сделать нечто совсем другое. Иной раз можно подумать, что у кошек есть нравственное начало.

Сегодня утром я наблюдал за вашей полосатой кошкой. Она ползла вдоль крыши каюты, позади ящиков с цветами, подкрадываясь к молодому дрозду, сидевшему на бунте каната. Жажда крови сверкала в ее глазах, убийство таилось в каждой судорожно напряженной мышце ее тела. Судьба — в виде исключения покровительствуя слабому — внезапно направила ее внимание на меня, и тут она впервые обнаружила мое присутствие. На нее это подействовало, как небесное видение на библейского преступника. В мгновение ока она превратилась в совершенно другое существо. Хищный зверь, ищущий, кого бы сожрать, вдруг исчез. На его месте сидел длиннохвостый, покрытый шерстью ангел, глядевший в небо с выражением, в котором была одна треть невинности и две трети восхищения красотами природы. Ах, мне угодно знать, что она делает здесь? Так неужели я не вижу, что она играет комочками земли? Разумеется, я не так испорчен, чтобы вообразить, будто она хотела убить эту прелестную маленькую птичку, — да благословит ее господь!

Теперь представьте себе старого кота, пробирающегося домой рано утром после ночи, проведенной на крыше сомнительной репутации. Можете ли вы вообразить живое существо, которое в меньшей мере стремилось бы привлечь к себе внимание? «О, — словно слышите вы его слова, обращенные к самому себе, — я и понятия не имел, что уже так поздно; как быстро летит время в приятной компании. Надеюсь, что не встречу никого из знакомых, — ужасно досадно, что так светло».

В отдалении он замечает полисмена и внезапно останавливается, спрятавшись в тени. — «Что ему нужно, этому полисмену, да еще так близко от нашей двери? — думает кот. — Пока он торчит здесь, мне нельзя

войти. Он наверно увидит и узнает меня. И он способен рассказать обо всем слугам».

Кот прячется за тумбой для афиш и ждет, время от времени осторожно выглядывая из-за угла. Однако полисмен, видимо, прочно обосновался на этом месте, и кот начинает тревожиться и волноваться.

«Что ему там надо, этому дураку? — презрительно бормочет он, — скончался он, что ли? Отчего он не двигается с места? Ведь он постоянно предлагает другим проходить дальше. Тупой болван!»

Издали слышится крик: «Молоко!» — и котом начинает овладевать смертельная тревога: «Господи! какая мерзость! Все успеют проснуться и спуститься вниз прежде, чем я попаду домой. Ничего не поделаешь, приходится рискнуть!»

Кот осматривается и колеблется. «Куда ни шло, если бы я не был таким грязным и лохматым, — размышляет он. — В этом мире люди склонны видеть во всем только дурное».

«Что делать, — добавляет он, встряхнувшись, — ничего другого не придумаешь, придется положиться на провидение: до сих пор оно не подводило меня. Вперед!»

Он напускает на себя вид возвышенной печали, бросается вперед, сохраняя на морде скорбное и задумчивое выражение.

Он явно стремится внушить людям мысль, что отсутствовал всю ночь по случаю работы, связанной с Комитетом общественного призрения, и теперь возвращается домой подавленный зрелищем, которое ему пришлось увидеть:

Он незаметно проскальзывает в дом через окно и едва успевает поспешно облизать себя языком, как на лестнице раздаются шаги кухарки. Когда кухарка входит в кухню, кот крепко спит, свернувшись комочком на коврике перед камином. Стук открываемых ставен будит его. Он поднимается и делает шаг вперед, зевая и потягиваясь.

«Господи! уже утро? — полусонно говорит он. — О, я превосходно выспался, кухарка, и какой чудесный сон я видел про мою бедную маму».

А вы говорите «кошки»! Это не кошки, а истинные христиане, только ног у них больше, чем у человека.

— Несомненно, — отвечал я, — кошки изумительно смышленые зверьки и похожи на людей не только добродетелью и нравственными побуждениями; изумительная ловкость, проявляемая ими в заботе о собственной персоне, вполне достойна человеческого рода. У моих друзей был большой черный кот. Он и сейчас у них, — правда, только наполовину. Они взяли его котенком и по-своему, не афишируя, любили

его. Однако ни с той, ни с другой стороны не было ничего, похожего на страсть.

По соседству от них поселилась серая кошка, за которой ухаживала пожилая старая дева; и обе кошки встретились, гуляя по стене сада.

«Ну, как вы здесь устроились?» — спросила серая кошка.

«О, как будто неплохо».

«Ну, а хозяева? Милые люди?»

«Довольно милые, насколько это доступно людям».

«Стараются угодить? Хорошо заботятся о вас и все такое?»

«О да. Мне не на что жаловаться». «Как с харчами?»

«Как обычно, знаете ли, — кости да обрезки, порой для развлечения кусочек собачьей галеты».

«Кости и собачьи галеты? Неужто вы хотите сказать, что едите кости?»

«Да, когда они перепадают мне. Что в этом плохого!» «О тень египетской Изиды! Кости и собачьи галеты!

А вы никогда не получаете цыплят, или сардины, или телячью котлетку?»

«Цыплята? Сардины? О чем вы говорите? Что такое сардины?»

«Что такое сардины! О дорогое дитя (эта кошка, будучи особой женского пола, всегда называла своих друзей-котов, которые были немного старше ее, „дорогое дитя“), — да это просто позор, как с вами обращаются! Садитесь и расскажите мне все. На чем вы спите?»

«На полу».

«Я так и думала! А пьете молоко, разбавленное водой, не так ли?»

«Говоря по правде, его действительно разбавляют».»

«Воображаю. Вы должны немедленно покинуть этих людей, дорогой мой».

«А куда же мне идти?»

«Куда угодно».

«Но кто меня примет?»

«Любая семья, если вы только возьметесь за дело. Как вы думаете, скольких я переменила хозяев? Семерых! И каждый раз улучшала условия жизни. А знаете, где я родилась? В свинарнике. Нас было трое — мама, я и мой маленький брат. Мама уходила каждый вечер и возвращалась только с рассветом. Как-то утром она не вернулась. Мы ждали и ждали, но день проходил, а ее все не было, мы становились все голоднее и голоднее, и наконец легли рядышком и плакали, пока не заснули.

Вечером, выглянув через отверстие в двери, мы увидели ее в поле, она

приближалась к нам. Она ползла очень медленно, и ее тело волочилось по земле. Мы позвали ее, и она тихо мяукнула в ответ, но не ускорила шаг.

Она вползла в свинарник и свалилась на бок, а мы сразу подбежали к ней, оттого что почти умирали с голоду. Мы припали к ее соскам, а она все лизала и лизала нас.

Я заснула возле нее, а ночью, проснувшись от холода, теснее прижалась к ней, но мне стало еще холоднее: она была влажная и липкая от темной жидкости, вытекавшей у нее из бока. Тогда я не знала, что это такое, но потом узнала.

Это произошло, когда мне было не больше месяца, и с того дня и до настоящего времени я сама заботилась о себе; это неизбежно, мой дорогой. Некоторое время мы с братом продолжали жить в том же свинарнике и кормились сами. Сначала это была жестокая борьба — два детеныша боролись за жизнь. Но мы выстояли. Прошло около трех месяцев, и я, отойдя как-то дальше обычного от дома, набрела на коттедж, стоявший среди полей. Дверь была открыта, изнутри веяло теплом и уютом, и я вошла, так как никогда не могла пожаловаться на недостаток смелости. Дети играли перед огнем и ласково встретили меня, — я им понравилась. Для меня это было ново, и я осталась там. В то время их дом казался мне дворцом.

Может быть, я продолжала бы думать так, если б, проходя по деревне, случайно не увидела жилую комнату, расположенную позади лавки. Пол был застлан ковром, мохнатый коврик лежал перед камином. До этого времени я не подозревала, что существует подобная роскошь. Я решила, что поселюсь в этой лавке, и выполнила свое намерение».

«Как это вам удалось?» — спросил черный кот, который все живее интересовался рассказом.

«Попросту вошла и села. Дорогое дитя, дерзость — вот пароль, отпирающие любую дверь лучше всякого „Сезам, откройся!“. Кошка, которая усердно трудится, околевает от голода, кошку, обладающую мозгами, считают дурой и спускают с лестницы, а добродетельную кошку, топят, ославив мошенницей, но нахальная кошка спит на бархатной подушке, а на обед получает сливки и конину. Я смело вошла и потерлась о ноги хозяина. Его и жену очень растрогало то, что они назвали моей „доверчивостью“, и оба с восторгом приняли меня. Вечерами, бродя по полям, я часто слышала, как дети из коттеджа зовут меня по имени. Прошло много недель, прежде чем они перестали искать меня. Одна из них, самая младшая девочка, перед сном все плакала и засыпала в слезах: она думала, что меня нет в живых. Это были ласковые детишки.

Я пробыла у моих друзей-лавочников около года; от них я перешла к другим людям, недавно поселившимся по соседству, у которых была поистине превосходная кухарка. Думаю, что вполне удовлетворилась бы ими, но, к несчастью, они разорились и им пришлось, отказавшись от большого дома и кухарки, переехать в убогий домишко, а я не желала возвращаться к подобной жизни.

Итак, мне пришлось искать новое пристанище. Неподалеку жил забавный старик. Про него говорили, что он богат, но никто не любил его. Он не походил на других. Я обдумала все в течение дня или двух и решила, попробовать. Он был одинок и мог без ума полюбить меня, а в противном случае я всегда могла уйти.

Мое предположение оправдалось. Никто никогда так не баловал меня, как «Старый гриб», — это была его кличка у местных мальчишек. Моя теперешняя опекунша, право же, достаточно носится со мной, но у нее имеются другие родственные связи, а моему «Грибу» некого было любить, кроме меня, — даже себя самого он не любил. Сначала он не поверил своим глазам, когда я вскочила к нему на колени и стала тереться об его уродливое лицо. «Кошечка, — сказал он, — знаешь, ты первое живое существо, которое приблизилось ко мне по собственному побуждению». И когда он это говорил, на его забавных красноватых глазках появились слезы.

Я прожила с «Грибом» два года и была очень счастлива. Потом он заболел, в доме появились чужие люди, и мною стали пренебрегать. «Гриб» любил, чтобы я приходила к нему и лежала на его кровати, — тогда он мог гладить меня своей длинной худой рукой. Вначале я и делала это. Но больной — не очень приятное общество, как вы понимаете, а атмосфера комнаты больного не слишком полезна для здоровья. Учтя все это, я решила, что мне пора снова двинуться в путь.

Не так-то легко было уйти. «Гриб» постоянно справлялся обо мне, и меня пытались удержать возле него; в моем присутствии он, казалось, чувствовал себя лучше. Однако в конце концов я добилась своего, а когда очутилась за дверью, постаралась удалиться на значительное расстояние, чтобы меня не могли поймать, — ведь я знала, что, пока жив «Гриб», он никогда не перестанет надеяться заполучить меня обратно.

Я не знала, куда направиться. Мне предлагали два или три дома, но ни один из них не удовлетворял меня полностью. В одном месте, где я пробыла только день, чтобы проверить, понравится ли мне там, имелась собака; в другом месте, вообще-то вполне подходящем, завели ребенка. Если мальчишка постоянно дергает вас за хвост или натягивает вам на

голову бумажный кулек, вы можете сами расправиться с ним и никто не станет упрекать вас. «По заслугам тебе, — говорят тогда ревущему пащенку, — не надо было дразнить бедняжку». Но когда младенец душит вас и пытается деревянным черпаком выковырять вам глаза и это вам не нравится, вас обзывают злобной скотиной и, крича «к-ш-ш», гоняют по саду. С этим нельзя мириться. Или я, или младенец — таков мой принцип.

Перепробовав три или четыре семьи, я наконец остановилась на одном банкире. У меня были предложения, более выгодные с житейской точки зрения. Я могла пойти в трактир, где еды вдоволь и где заднюю дверь оставляют отпертой всю ночь. Но банкир (он был также церковным старостой, и его жена никогда не улыбалась, если только острота не была пущена самим епископом) окружил свой дом атмосферой солидной респектабельности, которая — я это почувствовала — будет благотворна для меня. Дорогое дитя. вы встретитесь с циниками, и они будут издеваться над респектабельностью; не слушайте их. Людское уважение само заключает в себе награду, — вполне реальную и практическую награду. Оно, быть может, не принесет вам лакомых блюд и мягкой постели, но даст вам нечто лучшее и более постоянное. Респектабельность даст вам сознание того, что вы живете праведной жизнью, что вы поступаете правильно, что, насколько это возможно для земного разума, вы направляетесь туда, куда не всем суждено попасть. Не позволяйте никому настраивать вас против респектабельности. Она приносит самое большое удовлетворение, какое ведомо мне в этом мире, — и стоит недорого.

Я прожила в этой семье около трех лет и пожалела, когда пришлось уйти. Я никогда не покинула бы дом, если бы это зависело от меня, но в банке вдруг произошло нечто такое, что принудило банкира внезапно предпринять путешествие в Испанию, а вслед за тем жизнь в доме сделалась слишком беспокойной. Шумные, неприятные люди беспрестанно стучались в двери и спорили в коридоре, а по ночам кто-то бросал в окно кирпичи.

В то время я была не совсем здорова и мои нервы не могли это выдержать. Я распростилась с городом и, возвратясь в деревню, устроилась в одной помещичьей семье.

Члены этой семьи вели светский образ жизни, но я предпочитала, чтобы они были домоседами. У меня привязчивый характер, и мне нравится, когда окружающие любят меня. Мои хозяева достаточно хорошо относились ко мне, но были чужды мне и не обращали на меня особого внимания. Мне скоро надоело заботиться о людях, которые не ценят

внимания и не отвечают на него.

От них я перебралась к бывшему торговцу картофелем. Я, конечно, немного опустилась по общественной лестнице, но зато достигла высшей степени комфорта и уважения. Эти люди казались исключительно милой семьей и как будто очень привязались ко мне. Я говорю «казались» и «как будто» оттого, что, как выяснилось в дальнейшем, на самом деле ничего этого не было. Спустя полгода, после того как я пришла к ним, они уехали и бросили меня. Они даже не попросили меня сопровождать их. Они не отдали никаких распоряжений на мой счет. Их, очевидно, нисколько не заботила моя судьба. До тех пор я никогда не сталкивалась с подобным эгоистическим безразличием к голосу дружбы. Это поколебало мою веру, а она никогда не была слишком твердой — в человеческую природу. Я решила, что в будущем не позволю никому обмануть меня. Я выбрала нынешнюю хозяйку по рекомендации одного джентльмена, моего друга, который прежде жил у нее. Он утверждал, что она совершенный образец кошатницы. Он покинул ее дом единственно вследствие требования хозяйки, чтобы он возвращался не позже десяти часов вечера, что заставило бы его манкировать другими обязанностями. Меня подобные запреты не пугают, так как я нисколько не заинтересована в ночных сборищах, столь излюбленных в нашей среде. Там всегда бывает слишком много кошек, а потому невозможно искренне наслаждаться, и, рано или поздно, туда обязательно проникают хулиганствующие элементы. Я предложила хозяйке свою кандидатуру, и она с благодарностью приняла ее. Но мне она не нравилась и никогда не будет Нравиться. Она вздорная старуха и надоедает мне. Однако она мне предана, и, если только не подвернется что-либо сверхпривлекательное, я останусь с нею.

Такова, мой дорогой, история моей жизни — по сей день. Я рассказала ее, чтобы показать вам, как легко «быть принятым». Выберите дом и помяукайте жалобно у черного хода. Когда откроют дверь, вбегайте и тритесь о первую попавшуюся ногу. Тритесь изо всех сил и доверчиво смотрите вверх. Я заметила, что ничто так не действует на людей, как доверчивость. У них самих ее не так много, и она им нравится. Будьте всегда доверчивы. Но вместе с тем будьте готовы к неожиданностям. Если вы не совсем уверены в том, как вас примут, попробуйте слегка промокнуть. Почему люди предпочитают мокрую кошку сухой — этого я никогда не могла понять, но совершенно неоспоримо, что промокшую кошку немедленно впустят в дом и дадут ей погреться, тогда как сухую кошку могут окатить из садового шланга. И еще съешьте кусок черствого хлеба, — если только вы в состоянии сделать это и если вам предложат.

Представители человеческого рода всегда бывают потрясены до глубины души при виде кошки, которая ест черствый хлеб».

Черный кот, принадлежавший моим друзьям, воспользовался мудрыми советами серой кошки. Незадолго до того в соседнем доме поселилась бескошатная чета. Он решил попытать счастья. Поэтому в первый же дождливый день он вышел из дому вскоре после завтрака и четыре часа просидел в открытом поле. Вечером, промокнув насквозь и чувствуя сильный голод, он стал мяукать у двери. Одна из служанок отворила, он вбежал, забился под ее юбки и стал тереться о ее ноги. Она закричала, и тогда спустились сверху хозяин и хозяйка, желая узнать, что случилось.

«Бездомная кошка, мэм», — сказала служанка.

«Гоните ее», — заявил хозяин.

«Нет, нет, не гоните», — возразила хозяйка.

«О бедняжка, она совсем мокрая», — сказал горничная.

«Может быть, она голодна», — сказала кухарка. — «Дайте ей кусочек черствого хлеба, посмотрим, станет ли она есть», — издевательски заявил хозяин, который писал в газетах и воображал, будто все знает.

Принесли черствую корку. Кот жадно съел ее, а потом стал благодарно тереться о светлые брюки хозяина.

Это заставило хозяина дома устыдиться за себя и испугаться за брюки.

«Ладно, пусть остается, если хочет», — сказал он. Таким образом кота приютили, и он остался в доме.

Тем временем его бывшие хозяева начали поиски. Пока кот жил у них, они не обращали на него особого внимания; теперь, когда кот ушел, они были безутешны. Его отсутствие заставило их понять, что единственно он придавал уют их дому. Вокруг происшествия сгущались тени подозрения. Исчезновение кота, первоначально-овеянное тайной, начало принимать форму преступления. Жена открыто обвиняла мужа в том, что он никогда не любил животное, и даже намекала, что он и садовник могли бы многое рассказать о его последних мгновениях; муж отвергал эту инсинуацию с таким жаром, что лишь усиливал веру жены в ее гипотезу.

Вызвали в комнаты бультерьера и осмотрели его с пристрастием. К счастью для него, последние два дня он ни разу не дрался. Если бы на нем обнаружили свежие следы крови, ему пришлось бы плохо.

Больше всего пострадал младший мальчик. За три недели до пропажи Тома он нарядил его в кукольное платье и катал вокруг дома в детской колясочке. Мальчик забыл об этом инциденте, но правосудие, хотя и с опозданием, настигло злодея. О его проступке вспомнили в тот час, когда

тщетные сожаления об утраченном любимце достигли апогея, а потому дать мальчику несколько оплеух и приказать ему немедленно отправиться в постель было для родителей некоторого рода разрядкой.

Спустя две недели кот, придя к выводу, что нисколько не улучшил своего положения, вернулся обратно. Семейство было так изумлено, что сначала никто не мог разобрать, действительно ли это существо из плоти и крови — или же призрак, явившийся, чтобы их утешить. Но после того, как Том съел полфунта сырой говяжьей вырезки, хозяева признали его живым, взяли в комнаты и всячески ласкали. Целую неделю его закармливали и носились с ним. По когда все успокоилось, Том увидел, что все снова идет по-старому; ему это не понравилось, ион опять улизнул к соседям.

Соседи тоже соскучились без него и точно так же приветствовали его возвращение живыми проявлениями радости. Это внушило коту блестящую мысль. Он понял, что тактика должна заключаться в том, чтобы играть на чувствах обоих семейств: так он и действовал в дальнейшем. В каждом семействе он проводил по две недели и катался как сыр в масле. Его возвращение всегда приветствовалось криками восторга, и в ход пускалось все, чтобы побудить его остаться. Все его прихоти старательно изучались, любимые им блюда всегда имелись наготове.

Со временем стало известно, куда он уходит, и тогда обе семьи принялись спорить из-за него через забор. Мой друг обвинял газетчика, что тот сманил его кота. Газетчик возражал, что несчастное создание появилось у его дверей, вымокнув насквозь и умирая с голоду, и прибавил, что стыдно держать в своем доме животное для того, чтобы тиранить его. Они ссорились из-за кота в среднем дважды в неделю. В ближайшем будущем, возможно, дело дойдет до потасовки.

Джефсона очень поразил этот рассказ. Он задумался и молчал. Я спросил его, желает ли он послушать еще что-нибудь, и так как он не выразил решительного протеста, я продолжал. (Может быть, он спал, — эта мысль тогда не пришла мне в голову.)

Я рассказал ему о бабушкиной кошке, которая, прожив безупречно более одиннадцати лет и поставив на ноги семью из шестидесяти шести котят, не считая тех, которые околели в младенчестве в бочке с водой, сделалась на старости пьянчужкой и погибла в состоянии крайнего опьянения под колесами телеги пивовара (о, как это справедливо!). Я читал в антиалкогольных брошюрах, что ни одно бессловесное животное не может проглотить и капли алкоголя. Мой совет, — если вы желаете, чтобы животные сохраняли порядочность, — никогда не давайте им случая даже вкусить алкоголя. Я знавал одну лошадку… Впрочем, это не к месту: речь

идет о кошке моей бабушки.

Плохо закрывавшийся кран пивного бочонка был причиной грехопадения этой кошки. Под кран обычно ставили блюдце, куда стекали капли. Однажды кошка, которую мучила жажда, вошла в кухню и, не найдя другого питья, полакала немножко: ей понравилось, и она полакала еще немного, ушла на полчаса, а возвратясь, прикончила все, что оставалось в блюдце. Потом она села возле него и стала ждать, когда оно снова наполнится.

С этого дня и до часа своей смерти эта кошка, как мне кажется, ни разу не была трезвой. Целые дни проводила она перед кухонным очагом в пьяном отупении. По ночам она торчала в погребе, где хранилось пиво.

Бабушка, потрясенная и огорченная сверх всякой меры, отказалась от хранения пива в бочонках и перешла на бутылки. Кошка, обреченная тем самым на вынужденную трезвость, целых полтора, дня в безутешном и весьма сварливом настроении бродила по дому, потом исчезла и вернулась домой в одиннадцать часов пьяная в стельку.

Где она была и как ей удалось добыть хмельного, нам так и не удалось узнать, но то же самое повторялось ежедневно. Иногда по утрам ей удавалось обмануть нашу бдительность и удрать, а вечером она, пошатываясь, брела домой, и я не желаю осквернять мое перо, пытаясь описать ее состояние.

Как-то в субботу вечером ее настиг печальный конец, о котором я уже упоминал. Вероятно, она была очень пьяна, так как возчик сказал нам, что из-за темноты и усталости его лошади едва плелись.

Полагаю, что бабушка вздохнула с облегчением. Когда-то она очень любила свою мурлыку, но беспутное поведение кошки заставило бабушку изменить отношение к ней. Мы, дети, закопали труп кошки в саду под тутовым деревом. Однако почтенная старушка настояла на том, чтобы мы не насыпали холмика над могилкой. Так она и покоится, без почестей, всеми забытая пьянчужка.

Я рассказал Джефсону и про другую кошку, которая. некогда принадлежала нашей семье. Она была воплощенным чувством материнства и все свое счастье видела в детях. И действительно, я не помню, чтобы у нее когда-нибудь не было семьи — большой или маленькой. Ее не очень беспокоило, что у нее за семья. Если не было котят, она довольствовалась щенками или крысятами. Любое существо, которое она могла мыть и кормить, по-видимому, вполне устраивало ее. Полагаю, что она могла бы вырастить цыплят, если бы ей их доверили.

Вероятно, все ее умственные способности были поглощены

материнством, ибо особого ума она не проявляла. Она никогда не могла отличить своих детей от чужих. Она воображала, что всякое молодое существо — котенок. Мы как-то поместили среди ее потомства щенка-спаниеля. потерявшего собственную мать. Я никогда не забуду ее удивления, когда он впервые залаял. Она отодрала его за уши и потом сидела, уставившись на него, с поистине трогательным выражением негодования и горести.

«Много же радости ты принесешь своей маме, — казалось, говорила она, — нечего сказать, хорошенькое утешение на старости лет! Только и знаешь, что шуметь и безобразничать! И погляди-ка на свои уши; они же закрыли тебе все лицо! Не знаю, откуда ты набрался всего этого».

Спаниель был добрый песик. Он пытался мяукать, и мыть лапой морду, и не — вилять хвостом, но результаты не соответствовали его усилиям. Не знаю, что было печальнее — его ли старания сделаться почтенной кошкой или отчаяние его приемной матери, когда из этого ничего не получалось.

Потом мы дали ей на воспитание малютку белку. В то время кошка вскармливала собственную семью, но с восторгом приняла белочку, воображая, что это еще один котенок, хотя и не совсем понимала, как могла проглядеть его. Вскоре белочка стала ее любимицей. Кошке нравилась расцветка белочки, и она по-матерински гордилась ее хвостом. Смущало ее лишь то, что хвост норовил задираться на голову. Кошка придерживала его одной лапой и не переставая лизала полчаса подряд, пытаясь привести его в порядок. Но стоило только кошке отпустить беличий хвостик, как он тут же опять задирался вверх. Я слышал, как несчастная мать плакала с досады.

Однажды соседская кошка пришла проведать нашу, и белочка была главным предметом их беседы.

«Расцветка хороша», — сказала приятельница, разглядывая предполагаемого котенка, сидевшего на корточках и разглаживавшего свои подусники; гостья сказала о белочке единственную приятную вещь, какую могла придумать.

«Восхитительная расцветка!» — с гордостью воскликнула наша кошка.

«Мне не очень нравятся ее ноги», — заметила приятельница.

«Да, — задумчиво промолвила кошка-мать, — вы правы, ноги — ее слабое место. Не скажу, чтобы я сама была высокого мнения об ее ногах».

«Быть может, они потом пополнеют», — любезно предположила гостья.

«Надеюсь, — ответила мать, вновь обретая утраченное. хорошее настроение. — О да, со временем они исправятся, А кроме того, поглядите на этот хвост. Скажите по правде, разве вы когда-нибудь видели котенка с более пышным хвостом?»

«Очень хороший хвост, — согласилась другая, — но почему вы зачесываете его на голову?»

«Я здесь ни при чем, — отвечала наша кошка. — Он сам задирается. Надеюсь, он выправится, когда котенок подрастет».

«Очень неудобно будет, если этого не произойдет», — сказала приятельница.

«Я уверена, что все будет хорошо, — ответила наша кошка. — Только мне нужно больше лизать, его. Этот хвост нуждается в том, чтобы его усердно лизали, как вы сами видите».

И в тот день после ухода соседской кошки, она целые часы сидела, приводя в порядок непослушный хвост; наконец, когда, она отвела от него свою лапу и он снова взлетел вверх подобно стальной пружине и задрался на голову белочки, наша кошка взглянула на него с чувством, понятным только тем из моих читательниц, которые сами были матерями.

«В чем я провинилась, — казалось, говорила она, — в чем я провинилась? За что на меня свалилось такое горе?»

Джефсон поднялся, когда я закончил этот анекдот, и сел.

— У тебя и у твоих друзей, — сказал он, — были, по всей видимости, весьма необыкновенные кошки.

— Да, — ответил я, — нашей семье удивительно везло на кошек.

— И еще как везло! — согласился Джефсон. — Мне довелось знать только одного человека, который за один присест мог выложить больше кошачьих историй, чем ты рассказал мне за все время нашего знакомства.

— О, — сказал я, и в моем голосе прозвучали нотки ревности, — а кто этот человек?

— Он был моряк, — ответил Джефсон. — Я встретил его в Хэмпстэде в трамвае, и мы с ним обсуждали вопрос об уме животных. «Да, сэр, — говорил он, — обезьяны умны; я встречал обезьян, которые могли бы дать сто очков вперед тем болванам, под чьим командованием я плавал, да и слоны не такие уж простаки, если верить всему, что о них рассказывают, — я слышал невероятные истории про слонов. И, разумеется, у собак головы тоже на месте — не стану спорить. Но скажу вам одно: нужен вам образец здравого, разумного подхода к жизни-посмотрите на мою кошку. Видите ли, сэр, — собака, она слишком высокого мнения о человеке. Собаке кажется, что нет никого умнее человека, и собака изо всех сил старается

довести это до всеобщего сведения. Поэтому-то мы, люди, и говорим, что собака самое разумное из животных. А вот кошка, — она держится особого мнения о человеческих достоинствах. Она помалкивает, но может наговорить такого, что вы не захотите слушать до конца. А в результате мы заявляем, что у кошки нет ума. Вот эти-то предрассудки и уводят нас с правильного курса. Что касается житейского здравого смысла, то нет такой кошки, которая не могла бы обойти любого пса с подветренной стороны и удрать от него. Приходилось ли вам когда-либо видеть, как цепной пес пытается расправиться с кошкой, умывающей мордочку в трех четвертях дюйма за пределом досягаемости? Разумеется, видели. Так кто же из них умнее? Кошка-то знает, что стальным цепям несвойственно растягиваться. А пес, которому следовало бы, как вы сами понимаете, лучше разбираться в цепях, убежден, что они поддадутся, если лаять погромче.

Теперь скажите, случалось ли вам, проснувшись от кошачьего концерта, вскакивать ночью с постели и, распахнув окно, орать на кошек? Наверно, случалось. Но отходят ли они хоть на дюйм, — если даже вы кричите так громко, что впору разбудить покойников, и размахиваете руками, как актер на сцене? Ничуть не бывало. Повернув головы, кошки поглядывают на вас — вот и все. «Ори себе на здоровье, старина, — думают они, — нам нравится слушать тебя: чем больше, тем веселее». А как вы поступаете после этого? Вы хватаете щетку для волос, или башмак, или подсвечник и делаете вид, будто собираетесь швырнуть их. Кошки все видят: и как вы замахнулись рукой, и что у вас в руке. Но они даже не пошевельнутся, так как знают, что вы не станете бросать из окошка ценные предметы, рискуя, что они пропадут или поломаются. Кошки разумные существа и воздают вам должное, считая, что и у вас имеется ум. Если, по вашему мнению, причина тут другая, попробуйте в следующий раз показать кошкам кусок угля или даже полкирпича — что-нибудь такое, что, по их мнению, вы можете швырнуть в них. Прежде чем вы успеете поднять руку, в вашем поле зрения не останется ни одной кошки.

Что касается верности суждений и знания жизни, здесь собаки — невинные дети по сравнению с кошками. Пробовали вы, сэр, плести какую-нибудь небылицу в присутствии кошек?»

Я отвечал, что кошки часто присутствовали при том, как я рассказывал всякие анекдотические случаи, но что до сих пор я не обращал особого внимания на их поведение.

«Тогда непременно воспользуйтесь первым же случаем, сэр! — воскликнул старик.-Право, вы не пожалеете. Если вы начнете рассказывать какую-нибудь историю в присутствии кошки и она не станет выражать

беспокойства во время вашего повествования, можете быть уверены, что напали на сюжет, о котором можете спокойно говорить в присутствии председателя верховного суда Англии».

«Есть у меня однокашник, — продолжал старик, — зовут его Вильям Куули. Мы всегда зовем его Правдивый Биль. Он лучший из моряков, когда-либо ступавших по палубе, но, когда он начинает плести всякие истории, я не посоветовал бы вам верить его словам. Так вот, у Биля был пес, и я видел, как Биль в присутствии этого пса рассказывал такое, что у кошки вылезли бы глаза на лоб, а пес принимал все на веру. Как-то вечером у себя дома Биль рассказывал нам такую бородатую историю, что по сравнению с нею кусок солонины, совершивший два кругосветных путешествия, сошел бы за цыпленка. Я наблюдал за псом, чтобы увидеть, как он будет реагировать. Пес слушал от начала до конца, насторожив уши, и за все время даже глазом не повел. Время от времени он осматривал присутствующих с выражением удивления или восторга и, казалось, говорил: „Замечательно, не правда ли! Подумать только! Слыхали вы когда-нибудь что-либо подобное? Вот это здорово!“ Он был на диво глупый пес; ему можно было рассказывать все что угодно.

Меня злило, что возле Биля торчит животное, которое потакает ему во всем, и, когда он умолк, я сказал:

«Хочется мне, чтобы ты как-нибудь повторил эту историю у меня дома».

«Зачем?» — спросил Биль. «Просто так. Хочется, и все тут», — говорю я..

Я не сказал ему, что желаю, чтобы моя старая кошка послушала его рассказы.

«Ладно, — сказал Биль, — напомни мне при случае». Он любил рассказывать, этот Биль.

Через день он заявляется, так сказать, в мою каюту и располагается поудобнее. Ну, и я поступаю так же. И тут он начал. Нас было человек шесть, а кошка сидела перед огнем и занималась своим туалетом. Биль еще не успел распустить все паруса, как она перестала умываться и взглянула на меня с удивлением, словно желая сказать:

«Это что еще за миссионер объявился?» Я знаком предложил ей сохранять спокойствие, и Биль продолжал свою историю. Когда он добрался до случая с акулами, кошка демонстративно повернулась и поглядела на него. Уверяю вас, ее лицо выражало такое отвращение, что, взглянув на него, даже бродячий торговец провалился бы от стыда. В этот миг кошка так походила на человека, что, клянусь вам, сэр, я позабыл, что

бедное животное не в состоянии говорить; я видел собственными глазами, как на ее губы просились слова: «Почему же ты не скажешь, что ты самолично проглотил якорь? Говори, не стесняйся!» Я сидел как на иголках, боясь, что она выскажет это вслух. Я вздохнул с облегчением, когда она повернулась к Билю спиной.

Несколько минут она сидела неподвижно, и видно было, что в ней происходит внутренняя борьба. Мне никогда не приходилось видеть кошку, которая до такой степени владела бы собой или умела молча переносить страдания. При виде ее у меня просто сердце разрывалось.

Наконец Биль добрался до того места, когда он и капитан открывают акуле пасть, а юнга ныряет туда головой вперед и достает — золотые часы с цепочкой, которые были на боцмане, когда тот свалился за борт. И тут старая кошка издала вопль и повалилась на бок, задрав лапы в воздух.

Я было подумал, что бедняжка скончалась, но спустя некоторое время она пришла в себя и стало ясно, что она хотела собраться с силами, чтобы дослушать до конца.

Однако вскоре Биль ляпнул нечто такое, чего она не могла стерпеть, и на этот раз ей пришлось сдаться. Она поднялась и оглядела нас. «Простите меня, джентльмены, — сказала она, по крайней мере сказала взглядом, если вообще взгляд способен говорить что-нибудь, — возможно, что вы привычны к подобной брехне и она не действует вам на нервы. Со мною дело обстоит иначе. Я вдоволь наслушалась речей этого болвана, и больше мой организм не в состоянии выдержать, так что, с вашего разрешения, я уйду, пока меня не начало тошнить».

Тут кошка направилась к выходу, я распахнул перед ней дверь, и она ушла.

«Вам не удастся одурачить кошку пустой болтовней, как какую-нибудь собаку, нет, сэр!»

Глава VII

Может ли человек измениться к лучшему? Бальзак утверждает, что не может. В меру моего собственного опыта я согласен с мнением Бальзака, — факт, из которого поклонники этого писателя вольны делать какие угодно выводы.

Мы обсуждали этот вопрос применительно к нашему герою. Браун высказал оригинальную мысль, которая позволила подойти к теме по-новому: он предложил сделать нашего героя законченным мерзавцем.

Джефсон стал вторить Брауну, утверждая, что это предложение позволит нам создать подлинно художественный образ. Он придерживался того мнения, что нам легче описать злодея, чем пытаться дать портрет порядочного человека.

Мак-Шонесси поддакнул Джефсону и тоже поддержал это предложение. Ему, по его словам, надоели «неизменно фигурирующие в романах молодые люди с кристально чистым сердцем и благородным образом мыслей. Кроме того, не надо писать специально „для юношества“: у молодых людей создается превратное представление о жизни, и они переживают разочарование, узнав человечество таким, каково оно есть на самом деле.

Потом Мак-Шонесси принялся излагать нам свое представление о герое, — о последнем я могу только сказать, что не хотел бы встретиться с ним с глазу на глаз темной ночью.

Браун, единственный из нас троих, кто принимал все всерьез, попросил нас сохранять благоразумие и напомнил (не в первый раз и, быть может, не без оснований), что целью наших встреч было обсуждать дело, а не болтать глупости.

Получив нагоняй, мы не шутя принялись за дело. Предложение Брауна заключалось в том, что наш герой должен быть отпетым негодяем примерно до середины книги, когда произойдет некое событие, в результате которого он в корне изменится. Это, естественно, привело нас к обсуждению вопроса, с которого я начал главу: может ли человек измениться к лучшему? Я стоял на отрицательной точке зрения и поддерживал ее примерно теми аргументами, которые привожу здесь. С другой стороны, Мак-Шонесси настаивал на том, что человек может измениться, и в качестве примера привел самого себя, как человека, который в юности был глуп, непрактичен и абсолютно лишен постоянства.

Я утверждал, что в данном случае мы имеем дело лишь с проявлением огромной силы воли, делающей человека способным побороть врожденные недочеты характера.

— Что касается тебя, — сказал я, обращаясь к Мак-Шонесси, — ты и сейчас всего-навсего безответственный и безнадежный болван, хотя и нашпигованный добрыми намерениями. Но, — поспешил я добавить, заметив, что его рука тянется к увесистому тому Шекспира, лежавшему на пианино, — но твои умственные способности столь необычны, что ты в состоянии скрыть это от людей и внушить им веру в твой здравый смысл и мудрость.

Браун согласился с тем, что в данном конкретном случае, то есть в характере Мак-Шонесси, явно проступают следы прежних свойств, однако нашел пример неудачным, а потому — заявил он — его не следует принимать в расчет в нашем споре.

— Говоря со всей серьезностью, — продолжал он, — не полагаете ли вы, что в жизни, могут произойти события, достаточно значительные, чтобы переломить и полностью изменить натуру человека?

— Переломить, — отвечал я, — но не изменить! Значительное событие может сломить человека или закалить его, точно так же как пребывание в печи может расплавить или закалить металл, но ни одна, печь, когда-либо зажженная на земле, не в состоянии превратить брус золота в брус свинца или брус свинца в брус золота.

Я спросил Джефсона, каково его мнение. Аналогия с брусом золота не показалась ему уместной. Он настаивал на том, что характер человека может измениться. Джефсон уподобил характер некой смеси, пагубной или живительной, которую каждый человек приготовляет сам, заимствуя составные части из безграничной фармакопеи, предоставленной в его распоряжение жизнью и эпохой.

— Нет ничего невозможного в том, — сказал он, — что готовое снадобье выплеснут, а затем, ценою неимоверного труда, приготовят новое, но это, впрочем, случается редко.

— Вот что, — сказал я, — давай поставим вопрос практически: известен ли тебе случай, когда характер человека совершенно изменился?

— Да, — ответил он, — я действительно знаю человека, чей характер, как мне кажется, изменился полностью в результате одного события. Вы, возможно, скажете, что этот человек просто пережил потрясение или научился подчинять себе свои врожденные наклонности. Как бы то ни было, результат был поразительный.

Мы попросили его рассказать нам этот случай, что он и сделал.

— Речь идет о друге одного из моих двоюродных братьев, — начал Джефсон, — с которым я часто встречался на последних курсах университета. Когда мы познакомились, это был парень лет двадцати шести, здоровый телом и духом, суровый и упрямый по натуре, и те, кто его любил, называли его характер властным, а те, кому он не нравился (более многочисленные), — тираническим.

Когда я встретился с ним три года спустя, он походил на старика, был кроток и уступчив до слабости, не верил в себя и так прислушивался к чужим мнениям, что это переходило все границы. Прежде он легко приходил в ярость. После перемены, происшедшей с ним, я только один раз увидел выражение гнева на его лице. Как-то во время прогулки мы увидели, что молодой шалопай дразнил ребенка, делая вид, что хочет натравить на него собаку. Мой знакомый схватил верзилу за шиворот и едва не задушил его, учинив над ним расправу, которая показалась мне непропорциональной проступку, как бы жесток он ни был.

Я попенял ему, когда он снова подошел ко мне. «Да, — ответил он уступчиво, — вероятно, я — слишком сурово отношусь — к таким дурачествам».

Я знал, какая картина всегда стояла перед его неподвижным взором, и промолчал.

Он был младшим компаньоном крупной оптовой фирмы по торговле чаем, помещавшейся в Сити. В лондонской конторе для него почти не было дела, а потому, когда в результате каких-то ипотечных сделок фирма приобрела чайные плантации на юге Индии, его решили отправить туда управляющим. Он был очень доволен, так как ему нравилось вести суровую жизнь: сталкиваться с трудностями и опасностями, командовать множеством туземных рабочих, на которых надо было действовать не добротой, а страхом. Подобная жизнь, требующая находчивости и энергии, манила его властную натуру, суля ему труды и удовольствия, которых нельзя найти в тесных рамках цивилизованного мира.

Лишь одно препятствовало этому плану-его жена.. Она была хрупкой деликатной молодой женщиной, и он женился на ней, повинуясь тому инстинктивному влечению к противоположностям, которое природа вложила в нас, стремясь к равновесию. Робкое создание с большими покорными глазами, она была из тех, кому легче встретиться лицом к лицу со смертью, чем ожидать опасность, и кого гибель не так пугает, как муки страха. Известно, что подобные женщины с визгом убегают при виде мыши, но могут героически встретить мученическую смерть. Они так же не в силах превозмочь нервную дрожь, как осина не в состоянии помешать

своим листьям трепетать.

Полная неприспособленность жены к той жизни, на которую его согласие принять новый пост обрекло эту несчастную женщину, стала бы очевидной для него, если бы он хоть на мгновение посчитался с ее чувствами. Но не в обычае этого человека было рассматривать вопрос с чужой точки зрения — он заботился только о собственной. И хотя он страстно любил свою жену — как личную собственность, — его любовь к ней была подобна любви, которую хозяин испытывает к собаке или лошади, когда одну избивает хлыстом, а другую пришпоривает, пока та не сломает себе хребет. Ему никогда даже в голову не приходило посоветоваться о чем-нибудь с женой. Он сообщил ей свое решение и дату их отъезда; вручив ей чек на крупную сумму денег, он просил ее приобрести все необходимое и сообщить, если ей не хватит денег. Она, любя мужа с той собачьей преданностью, которая могла только портить его, немного шире раскрыла свои большие глаза, но ничего не сказала. Про себя она много думала о предстоящей в ее жизни перемене и, оставшись одна, тихо плакала. Но, заслышав его шаги, быстро вытирала следы слез и встречала его улыбкой.

Ее робость и нервозность, над которыми на родине только добродушно подшучивали, теперь, в новой обстановке, стали серьезно раздражать мужа. Женщина, не способная подавить крик испуга, когда с темнокожего лица на нее смотрит пара горящих глаз; женщина, готовая соскочить с лошади, услышав рев дикого зверя на расстоянии мили, бледнеющая и цепенеющая от ужаса при виде змеи, — такая женщина была неподходящей спутницей жизни по соседству с индийскими джунглями.

Мужу был неведом страх, он не понимал его и считал чистым притворством. Он, подобно многим мужчинам того же типа, внушил себе глупую уверенность, что женщины прикидываются нервными, воображая, будто робость и впечатлительность им к лицу. Но если показать им, насколько это нелепо, можно заставить женщин отказаться от «нервов», как они отказываются от семенящей походки и хихиканья. Человек, который знал лошадей и гордился этим, мог, казалось бы, более верно судить о нервозности, являющейся признаком темперамента. Но он был глупцом.

Больше всего его раздражало то, что она боялась змей. К счастью или к несчастью, он был лишен воображения. Между ним и потомством Змея-искусителя не было никакой вражды. Для него существо, ползающее на брюхе, было не страшнее существа, передвигающегося с помощью ног.

Пресмыкающиеся даже казались ему менее страшными, ибо он знал, что они грозят меньшей опасностью, так как всегда стремятся уклониться от встречи с человеком. Если на змею не напали или не испугали ее, она не нападет первая. Большинство людей удовлетворяется тем, что приобретает эти сведения из книг по естествознанию, но он знал это на собственном опыте. Его слуга, старый сержант драгунского полка, рассказал мне, что сам видел, как голова королевской кобры находилась в шести дюймах от лица его хозяина, который, надев очки, спокойно следил за уползающей змеей, зная, что одно прикосновение ее клыков означает верную смерть. Тот факт, что страх — тошнотворный смертельный страх — может охватить разумное существо при виде жалкого пресмыкающегося, казался ему невероятным; он решил излечить свою жену от страха перед змеями.

Ему действительно удалось это сделать, и даже более радикально, чем он предполагал, но в его глазах навсегда застыл ужас, который не изгладился по сей день и не исчезнет никогда.

Как-то вечером, возвращаясь домой верхом и проезжая по джунглям неподалеку от своего бунгало, он услыхал низкий свист у самого уха и, подняв голову, увидел питона, который, соскользнув с ветки дерева, уползал в высокую траву. Заряженное ружье висело у стремени всадника. Соскочив с испугавшейся лошади, он успел выстрелить в питона, не надеясь даже ранить его, но, к счастью, пуля попала в место соединения спинного хребта с головой и убила змею наповал. Это был превосходный экземпляр, неповрежденный, если не считать небольшого отверстия от пули.

— Подобрав питона, он перекинул его через седло, чтобы отвезти домой и сделать чучело.

Поглядывая на огромную страшную змею, которая раскачивалась и болталась впереди него словно живая, он скакал домой, и тут ему в голову пришла блестящая мысль. Он воспользуется этим мертвым пресмыкающимся для того, чтобы излечить свою жену от страха перед живыми змеями. Он устроит так, чтобы она, увидев питона, приняла его за живого и испугалась; потом он покажет ей, что она испугалась всего лишь мертвого питона. Тогда жене станет стыдно, и она излечится от своего глупого страха. Подобная мысль могла прийти в голову только безумцу.

Вернувшись домой, он отнес мертвую змею к себе в комнату; потом этот идиот запер дверь и взялся за осуществление своего плана. Он придал чудовищу естественную позу: казалось, питон выползает из открытого окна и движется наискось по полу так, что человек, внезапно вошедший в комнату, непременно должен наступить на него. Все это было

инсценировано весьма искусно.

Закончив приготовления, он взял с полки книгу, раскрыл ее и положил на диван переплетом вверх. Устроив все, как ему хотелось, он отпер дверь и вышел из комнаты, очень довольный собой.

После обеда он закурил и некоторое время сидел молча.

«Ты не устала?» — спросил он жену, улыбаясь.

Она засмеялась и, назвав его старым лентяем, спросила, что ему нужно.

«Всего лишь роман, который я читал. Книга в моей берлоге лежит раскрытой на диване».

Жена вскочила и легко побежала к двери.

Когда она задержалась на мгновение, чтобы спросить у него название книги, он залюбовался ею: смутная догадка о возможной беде мелькнула в его сознании. «Не трудись, — сказал он, поднимаясь, — я сам…»

Потом, ослепленный великолепием своего плана, осекся, и она вышла из столовой. Он слышал ее шаги вдоль застланного циновкой коридора и улыбался про себя. Он думал, что все это будет превесело.

Даже теперь, когда представляешь себе эту картину, он не внушает сожаления.

Дверь его комнаты отворилась и захлопнулась, а он продолжал сидеть, лениво глядя на пепел своей сигары и улыбаясь.

Прошла секунда, быть может, две, но ему показалось, что время тянется невыносимо медленно. Он дунул на облачко дыма, стоявшее перед глазами, и прислушался. И тут он услышал то, чего ждал, — пронзительный вопль. Еще вопль… Но он не услыхал ни ожидаемого хлопанья отдаленной двери, ни стремительно приближающихся шагов жены по коридору. Это смутило его, и он перестал улыбаться.

Потом снова и снова вопли за воплями.

Слуга-туземец, неслышно скользивший по комнате, поставил на место поднос, который держал в руках, и инстинктивно двинулся к двери. Хозяин удержал его.

«Не двигайся, — сказал он хриплым голосом. — Ровно ничего не случилось. Твоя хозяйка испугалась, вот и все. Необходимо отучить ее от этих глупых страхов».

Он снова прислушался, и ему показалось, что вопли перешли в какой-то сдавленный смех. Внезапно наступила тишина.

И тогда из глубины этого бездонного молчания впервые его жизни пришел к нему страх. Теперь он и темнокожий Уа смотрели друг на друга до странности похожими глазами. Потом, повинуясь одному и тому же

импульсу, одновременно двинулись туда, где царила тишина.

Отворив дверь, они увидели сразу три вещи: мертвого питона, лежавшего на том же месте, где его оставили, живого питона — вероятно, подругу первого, — медленно ползущего вокруг него, и раздробленную кровавую груду на полу.

Он не помнил больше ничего вплоть до того мгновения, когда спустя несколько месяцев открыл глаза в затемненной незнакомой комнате. Но туземец-слуга видел, как его хозяин, прежде чем с воплем убежать из дома, набросился на живого питона и стал душить его голыми руками. А когда позднее другие слуги вбежали в комнату и, содрогаясь, подхватили своего хозяина, они обнаружили, что у второго питона оторвана голова.

Вот происшествие, которое изменило характер этого человека, — закончил Джефсон. — Он сам рассказал мне все это как-то вечером на палубе парохода, возвращаясь из Бомбея. Не щадя себя, он рассказал мне эту историю почти в том же виде, как я пересказал ее вам, но ровным, монотонным голосом, не окрашенным какими-либо эмоциями. Когда он кончил рассказывать, я спросил его, как он может вспоминать об этом. «Вспоминать! — повторил он с легким оттенком удивления. — Это всегда во мне».

Глава VIII

Однажды мы заговорили о преступности и преступниках. Мы обсуждали, можно ли написать роман без злодея, и пришли к заключению, что это было бы неинтересно.

— Ужасно грустно сознаться, — задумчиво произнес Мак-Шонесси, — но каким безнадежно скучным был бы этот мир, если бы не наши друзья правонарушители. Знаете, — продолжал он, — когда мне говорят о людях, которые непрерывно стараются всех и каждого исправить и превратить в совершенство, то я просто расстраиваюсь. Исчезни грех, и литература отойдет в область предания. Без преступного элемента мы, сочинители, умрем с голоду.

— А по-моему, — сухо возразил Джефсон, — беспокоиться не о чем. С самого сотворения мира одна половина человечества упорно старается «исправить» другую, и все же никому не удалось изжить человеческую природу: она проявляет себя везде и всюду. Подавлять зло — это то же самое, что подавлять вулкан: заткни его в одном месте, он прорвется в другом. На наш век греха еще хватит.

— Нет, я не разделяю твоего оптимизма, — отвечал Мак-Шонесси. — Мне кажется, что преступления, во всяком случае интересные преступления, почти совсем перевелись. Пираты и разбойники с большой дороги фактически уже уничтожены. Любезный нашему сердцу старый контрабандист Биль перековал свою саблю на полупинтовую кружку с двойным дном. Распущены отряды вербовщиков, в былые времена всегда готовые освободить героя от грозящих ему брачных уз. У берега не найдешь уже парусного суденышка, на котором можно было бы увезти похищенную красотку. Мужчины решают «дела чести» в суде, откуда выходят здравы и невредимы, а от ран страдают одни их кошельки. Нападение на беззащитных женщин стало возможным только в трущобах, где не бывает героев и где роль мстителя выполняет ближайший мировой судья. Наш современный взломщик — это обычно какой-нибудь безработный зеленщик. Его «добыча» — пальто или пара сапог, но и их он не успевает унести, так как обыкновенная горничная захватывает его на месте преступления. Самоубийства и убийства становятся с каждым годом все реже. Если так пойдет дальше, то через какой-нибудь десяток лет насильственная смерть станет неслыханным делом и рассказ об убийстве будут встречать смехом, как нечто слишком неправдоподобное, а потому

совсем неинтересное. Некоторые досужие люди заявляют, что седьмой заповеди следует придать силу закона. Если они добьются своего, то авторам придется последовать обычному совету критиков и удалиться от дел. Повторяю, у нас отнимают одно за другим все средства к существованию; писатели должны были бы организовать общество по поддержанию и поощрению преступности.

Высказывая эти соображения, Мак-Шонесси хотел главным образом возмутить и огорчить Брауна, и это ему прекрасно удалось.

Браун — серьезный молодой человек, во всяком случае он был таким в описываемое время, и он чрезвычайно высоко — многие сказали бы, что даже слишком высоко, — ставил значение литератора.

По мнению Брауна, бог создал вселенную для того, чтобы писателям было о чем писать. Сначала я думал, что эта оригинальная идея принадлежит самому Брауну, но с годами понял, что она вообще очень распространена и популярна в современных литературных кругах.

Браун стал спорить с Мак-Шонесси.

— По-твоему, выходит, — сказал он, — что литература является паразитом, существующим за счет зла.

— Да, именно, и ничем иным, — продолжал, увлекаясь, Мак-Шонесси. — Что стало бы с литературой без человеческой глупости и без греха? И что такое писательская работа? Ведь быть писателем — это значит добывать себе пропитание, роясь в мусорной куче людского горя. Представьте себе, если можете, идеальный мир, мир, в котором взрослые люди никогда не говорят глупостей и не поступают безрассудно, где маленькие мальчики никогда не шалят и дети не делают неловких замечаний; где собаки никогда не дерутся и кошки не задают ночных концертов; где муж никогда не бывает под башмаком у жены и свекровь не ворчит на невестку; где мужчины никогда не ложатся на постель в ботинках и моряки не ругаются; где водопроводчики исправно выполняют свою работу и старые девы не одеваются как молоденькие девушки; где негры никогда не крадут кур, а человек, полный чувства собственного достоинства, не страдает морской болезнью! Без всего этого — что останется от вашего юмора и острот?.. Представьте себе мир, где сердца никогда не болят от ран и губы не кривятся от боли; где глаза никогда не туманятся слезами, ноги не устают и желудки не бывают пустыми! Без всего этого — что останется от ваших патетических излияний? Представьте себе мир, где мужья всегда любят только одну жену, и притом именно ту, которую нужно; где женщины позволяют целовать себя только своему мужу; где сердца мужчин никогда не бывают жестокими, а мысли

женщин — нечистыми; где нет ни ненависти, ни зависти, ни вожделения, ни отчаянья! Куда денутся все ваши любовные сцены, запутанные ситуации, тонкий психологический анализ? Мой милый Браун, все мы — прозаики, драматурги, поэты — живем и нагуливаем себе жирок за счет горя наших братьев-людей. Бог создал мужчину и женщину, а женщина, вонзив зубки в яблоко, создала писателя. Итак, мы вступили в этот мир, осененные самим змием. Мы, специальные корреспонденты при армии Лукавого, описываем его победы в своих трехтомных романах и его случайные поражения в своих пятиактных мелодрамах.

— Все это справедливо, — заметил Джефсон, — но нельзя забывать, что не одни только писатели имеют дело с людскими несчастьями. Врачи, юристы, проповедники, владельцы газет, предсказатели погоды вряд ли, мне кажется, обрадовались бы наступлению «золотого века». Я никогда Не забуду случая, о котором рассказывал мой дядя, священник окружной тюрьмы в Линкольншире. Однажды утром должны были повесить осужденного и в тюрьме собрался обычно присутствующий при этом круг лиц — шериф, начальник тюрьмы, три или четыре газетных корреспондента, судья и несколько надзирателей. Палач и его помощник уже начали связывать смертника, грубого негодяя, осужденного за убийство молодой девушки, совершенное при особо отягощающих обстоятельствах, и мой дядя старался использовать последние имевшиеся в его распоряжении минуты для того, чтобы разбить угрюмое безразличие, с которым осужденный относился к своему преступлению и к своей судьбе. Однако дяде не удалось произвести на него никакого впечатления, и. начальник тюрьмы решил прибавить еще и от себя несколько слов увещания.

Тогда этот малый вдруг резко повернулся ко всем собравшимся.

«А пошли вы все к черту, сопливые болтуны! — закричал он. — Как вы смеете поучать меня? Вы-то все рады небось, что я здесь! Я один небось ничего не выиграю на этом дельце! И что бы вы, грязные лицемеры, делали, если бы не было меня и таких, как я? Я и такие, как я, вот кто кормит вас и вашего брата». Затем он пошел прямо к виселице и велел палачу «валять скорей» и «не задерживать джентльменов».

— А ему нельзя отказать в выдержке, этому парню, — сказал Мак-Шонесси.

— Да и в здравом чувстве юмора тоже, — прибавил Джефсон.

Мак-Шонесси выпустил клуб дыма прямо на паука, который готовился поймать муху. Паук упал в реку, откуда его сейчас же «спасла» ласточка, пролетавшая мимо в поисках ужина.

— Вы напомнили мне, — сказал он, — сцену, свидетелем которой я был однажды в редакции газеты «Ежедневное…» — ну, в общем, в редакции одной из наших ежедневных газет. Был мертвый сезон, и работа шла вяло. Мы сделали попытку открыть дискуссию на тему: «Следует ли считать детей благословением божим?» Младший из наших репортеров, который подписывался просто и трогательно «Мать шестерых детей», открыл кампанию едкой, хотя не совсем относящейся к делу атакой на мужей, как таковых.

Редактор нашего спортивного отдела подписывался «Рабочий» и поэтому уснащал свои статьи орфографическими ошибками; эти ошибки он мучительно и тщательно обдумывал, для того чтобы, с одной стороны, придать своим письмам больше правдоподобия, а с другой — не задеть обидчивых демократических читателей, от которых газета получала свои основные средства.

Так вот этот «Рабочий» встал на защиту британских отцов, приводя в виде волнующего примера свое собственное поведение.

Театральный рецензент, который в пылу воображения избрал себе псевдоним «Джентльмен и Христианин», с возмущением ответил, что считает обсуждение подобной темы нечестивым и неделикатным, и прибавил, что он удивлен, как это газета, занимающая столь высокое положение и пользующаяся столь заслуженной популярностью, могла поместить на своих страницах безмозглые фантазии «Матери шести детей» и «Рабочего».

Дискуссия, однако, на том и заглохла. Отозвался на нее только один человек, который изобрел новый рожок для молока и думал найти у нас даровую рекламу. Больше никто не откликнулся, и в редакции воцарилось уныние.

Однажды вечером, когда двое или трое из нас бродили, как сонные, по лестнице, втайне мечтая о войне или голоде, Тодхантер, корреспондент отдела городской хроники, промчался мимо нас с радостным криком и ворвался в комнату к помощнику редактора. Мы бросились за ним. Он размахивал над головой записной книжкой и требовал перьев, чернил и бумаги.

«Что случилось? — крикнул помощник редактора, заражаясь его возбуждением. — Опять вспышка инфлюэнцы?»

«Подымайте выше, — орал Тодхантер, — потонул пароход, на котором была целая экскурсия, погибло сто двадцать человек, — это четыре столбца душераздирающих сцен!»

«Клянусь Зевсом, — вырвалось у помощника, — в более подходящий

момент это не могло случиться!»

Он тут же сел и набросал короткую передовую, в которой распространялся о том, с какой болью и сожалением газета обязана сообщить о несчастье, и обращал внимание читателей на душераздирающий отчет, которым мы обязаны энергии и таланту «нашего специального корреспондента».

— Таков закон природы, — сказал Джефсон, — не воображайте, что мы — первые философы, пораженные тем, что несчастье одного человека часто оказывается источником счастья для другого.

— А иногда для другой, — заметил я. Я имел в виду случай, рассказанный мне одной медицинской сестрой.

Если сестра с хорошей практикой не познала человеческую природу лучше, не проникла взглядом в души мужчин и женщин глубже, чем все писатели нашего книжного мирка вместе взятые, то она, очевидно, физически слепа и глуха. Весь мир — подмостки, а люди лишь актеры; пока мы в добром здоровье, мы смело играем свою роль и доводим ее до конца. Мы играем ее обычно с большим искусством н усердием и иногда даже начинаем воображать, что мы в действительности те, кого представляем.

Но приходит болезнь, и мы забываем свою роль и перестаем заботиться о том, какое впечатление производим на зрителей. Мы становимся слишком слабыми, чтобы румянить и пудрить лицо, и сброшенный нами пышный театральный наряд валяется в пыли у наших ног.

Героические поползновения и возвышенные чувства становятся обременительным грузом. В безмолвной, затемненной комнате, где рампа огромной сцены уже не освещает нас, где наше ухо не стремится уловить рукоплесканья или шиканье толпы, мы на короткое время становимся сами собой.

Сестра, о которой я говорю, была спокойной, выдержанной маленькой женщиной с мечтательными и кроткими серыми глазами. Казалось, она ни на что не смотрит, а между тем глаза ее имели удивительное свойство схватывать все, что совершалось кругом. Им так часто приходилось наблюдать жизнь, лишенную своих внешних покровов, что они приобрели слегка циничное выражение, но в глубине их светилась доброта.

По вечерам, пока длилось мое выздоровление, она рассказывала мне о своей практике. Иногда мне приходило в голову записать то, что она говорила, но эти рассказы было бы грустно читать. Боюсь, что большинство из них показало бы только изнанку человеческой природы,

которую, право, нам нет особой нужды обнажать друг перед другом, — хотя многие в наше время думают, что именно это и стоит описывать. Некоторые из ее рассказов были очень милы, но это были, мне кажется, как раз самые печальные. Один или два могли бы даже вызвать желание смеяться, по я не думаю, чтоб это был хороший, здоровый смех.

«Каждый раз, когда я переступаю порог дома, куда меня призывает профессия, — сказала она однажды вечером, — я невольно думаю о том, что я там встречу, какая история развернется передо мной. В комнате больного я всегда чувствую себя так, словно нахожусь за кулисами жизни. Люди приходят и уходят, и вы слышите, как они разговаривают и смеются, но, глядя в глаза своему пациенту, вы знаете, что все это лишь игра».

Тот случай, который я вспомнил в связи с замечанием Джефсона, она рассказала мне однажды после обеда, когда я сидел у огня, пытаясь выпить стакан портвейна. Меня огорчало то, что я, казалось, потерял вкус к вину.

«Одним из моих первых пациентов, — начала сестра, — оказался больной, перенесший хирургическую операцию. Я была тогда еще очень молода и сделала довольно большую неловкость. Я имею в виду не профессиональную ошибку, но все же ошибку, которой, будь я несообразительней, легко было бы избежать.

Мой пациент был красивым, приятным молодым человеком, но жена его, хорошенькая темноволосая маленькая женщина, с самого начала мне не понравилась. Это была одна из тех идеально приличных, равнодушных женщин, которые как будто родились в церкви и так до конца и не освободились от церковного холода. Казалось, однако, что она любила своего мужа, а он ее; они так ласково говорили друг с другом — слишком ласково для того, чтобы это могло быть искренним, сказала бы я себе, если бы знала тогда жизнь так, как знаю ее сейчас.

Операция была трудной и опасной. Когда я пришла вечером на дежурство, то нашла больного, как и ожидала, в бреду. Я делала все возможное, чтобы успокоить его, но часам к девяти бред усилился, и я не на шутку встревожилась.

Склонившись к нему, я старалась понять, о чем он бредит, и услышала, что он все время зовет к себе Луизу. Почему Луиза не идет к нему? Как это жестоко с ее стороны… Они вырыли большую яму и толкают его туда, почему же она не идет, чтобы спасти его? Стоит ей только прийти и взять его за руку — и он спасен.

Он стонал все громче и громче, и в конце концов я не выдержала. Жена его отправилась на молебен, но церковь находилась на соседней улице. К счастью, дневная сестра не успела уйти. Я попросила ее

присмотреть за больным еще минутку, а сама, надев шляпу, выбежала на улицу. Я сказала одному из церковных служителей, кого я ищу, и он провел меня к жене моего больного. Она стояла на коленях, опустив голову и закрыв лицо руками. Но я не могла ждать. Я подошла к ее скамейке и, наклонившись, прошептала:

«Прошу вас, пойдемте сейчас же домой, у вашего мужа усилился бред, и мне кажется, что вы сможете успокоить его».

Не поднимая головы, она тихо ответила:

«Я приду немного погодя, молебен скоро кончится». Этот ответ смутил и рассердил меня. «Вы поступили бы более по-христиански, если бы сразу пошли со мной, вместо того чтобы оставаться здесь, — заметила я сухо. — Ваш муж все время зовет вас, и я не могу заставить его заснуть, а ему надо уснуть». Она отняла руки от лица и подняла голову. «Он зовет меня?» — спросила она, и в ее голосе послышался легкий оттенок недоверия.

«Да, целый час он твердит одно и то же: где Луиза, почему Луиза не идет?»

Лицо ее было в тени, но когда она повернула голову, мне показалось в слабом свете прикрученных газовых рожков, что она улыбнулась. И она стала мне еще менее симпатичной.

«Я пойду с вами», — сказала она, вставая. Она убрала молитвенник, н мы вместе вышли из церкви.

По дороге она расспрашивала меня, узнают ли больные в бреду окружающих, рассказывают ли они о том, что с ними действительно было, или их бред это просто бессвязные, бессмысленные слова? Можно ли направить их мысли в каком-либо определенном направлении?

Как только мы вошли в дом, она сбросила пальто и шляпу, быстро и неслышно ступая поднялась наверх, подошла к кровати и долго стояла, глядя на больного, но он не узнал ее и продолжал бредить. Я посоветовала ей заговорить с ним, она не захотела и, поставив стул так, чтобы оставаться в тени, села рядом с постелью.

Тогда я поняла, что ее присутствие не принесет больному никакой пользы, и стала уговаривать ее идти спать, но она обязательно хотела остаться, и так как я была тогда еще очень молода и не могла иметь настоящего авторитета, я больше не настаивала.

Всю ночь больной метался и бредил, и с его уст не сходило: «Луиза, Луиза…» И всю ночь эта женщина просидела у его постели, в тени, не двигаясь, молча, с застывшей улыбкой на губах. О, как мне хотелось взять ее за плечи и хорошенько встряхнуть!

В бреду воображение больного унесло его в прошлое, к тем дням, когда он был влюблен.

«Скажи, что ты любишь меня, Луиза, — молил он, — я знаю, что это так, я читаю это в твоих глазах. Зачем нам притворяться, ведь мы же понимаем друг друга. Обними меня своими белыми руками. Я хочу чувствовать твое дыхание на моем лице. Ах, я знал, я ждал этого, моя дорогая, моя любовь».

Весь дом спал мертвым сном, и мне ясно слышно было каждое слово его беспокойного бреда. Иногда я думала, что не имею права слушать, но мой долг приказывал мне оставаться.

Потом ему представилось, что он собирается ехать куда-то вместе с ней на каникулы.

«Я выеду в понедельник вечером, — говорил он, — ты приедешь ко мне в Дублин, в Джексон-отель, в пятницу, и мы сразу же двинемся дальше».

Голос его стал слабеть, и жена подалась вперед, наклонив голову к самым губам больного.

«Нет, нет, — продолжал он после недолгого молчания, — тебе нечего бояться. Это уединенное местечко, глубоко в горах Голуэй. Оно называется О-Мюлленз-хаус и лежит в пяти милях от Боллинахинча. Мы не встретим там ни души и проведем вместе три блаженные недели, о моя богиня, моя миссис Мэддокс из Бостона, не забудь этого имени».

Он засмеялся, и женщина, сидевшая у его постели, засмеялась тоже, и только тут истина осенила меня.

Я бросилась к ней и схватила ее за руку.

«Вас зовут не Луиза», — сказала я, глядя ей прямо в лицо. Это было дерзко, но я была вне себя.

«Нет, — спокойно ответила она, — но так зовут одну мою очень близкую школьную подругу. Сегодня я наконец узнала то, что пыталась разгадать в течение двух лет. Прощайте, сестра, спасибо за то, что позвали меня».

Она встала и вышла из комнаты. Я слышала, как она спустилась вниз по лестнице.

Потом я подняла ставни и увидела, что уже рассвело…» Некоторое время сестра сидела молча, что случалось с ней довольно редко.

«Вам надо было бы описать все то, что вы наблюдали во время своей практики», — сказал я.

«Ах, — ответила она, вороша кочергой поленья, — если бы вы видели столько горя, сколько пришлось увидеть мне, вы не захотели бы писать об

этом книгу. Она получилась бы слишком грустной».

«Мне кажется, — прибавила она после долгого молчания, не выпуская из рук кочерги, — что только тот, кто никогда не страдал и не знает, что такое страдания, любит читать о них. Если бы я умела писать, я написала бы веселую книгу, такую, чтобы люди, читая ее, смеялись».

Глава IX

Спор начался с того, что я предложил женить нашего злодея на дочери местного аптекаря, благородной и чистой девушке, скромной, но достойной подруге главной героини. Браун не согласился, считая такой брак совершенно невероятным.

— Какой черт заставит его жениться именно на ней? — спросил он.

— Любовь, — ответил я, — любовь, которая вспыхивает таким же ярким пламенем в груди последнего негодяя, как и в гордом сердце добродетельного юноши.

— Что же мы, — строго возразил Браун, — собираемся балагурить и смешить читателя или мы пишем серьезную книгу? Ну чем такая девушка, как дочь аптекаря, может привлечь такого парня, как Рюбен Нейл?

— Всем, — вырвалось у меня. — В моральном отношении эта девушка его полная противоположность. Она красива (если недостаточно, то мы слегка добавим ей красок), а после смерти отца она получит аптеку. К тому же, — прибавил я, — если читатель так и не поймет, что же в конце концов заставило их пожениться, то тем естественнее это будет выглядеть.

Браун не стал больше спорить со мной и повернулся к Мак-Шонесси:

— А ты можешь себе представить, чтобы наш друг Рюбен воспылал страстью к такой девушке, как Мэри Холм, и женился на ней?

— Конечно, — подтвердил Мак-Шонесси, — я могу представить себе все что угодно и поверить любой нелепости, совершенной любым человеком. Люди бывают благоразумны и поступают так, как можно от них ожидать, только в романах. Я знал, например, старого морского капитана, который по вечерам читал в постели «Журнал для молодых девушек» и даже плакал над ним. Я знал бухгалтера, который носил с собой в кармане томик стихов Браунинга и зачитывался ими, когда ехал на работу. Я знал одного врача, жившего на Харли-стрит. В сорок семь лет он внезапно воспылал непреодолимой страстью к американским горам и все свободное от посещения больных время проводил около этих аттракционов, совершая одну трех-пенсовую поездку за другой. Я знал литературного критика, который угощал детей апельсинами (притом, заметьте, не отравленными). В каждом человеке таится не одна какая-нибудь личность, а целая дюжина. Одна из них становится главной, а остальные одиннадцать остаются в более или менее зачаточном состоянии. Однажды я встретился с человеком, у которого было две одинаково

развитые личности, и это привело к самым необыкновенным последствиям.

Мы попросили Мак-Шонесси рассказать нам эту историю, и он согласился.

— Это был человек, учившийся в Оксфорде и принадлежавший к колледжу Баллиол, — начал он. — Звали его Джозеф. Он состоял членом клуба «Девоншир», держался страшно высокомерно и издевался надо всем. Он издевался над «Сатердей Ревью», называя его любимой газетой пригородных литературных клубов, а журнал «Атенеум» он окрестил профессиональным органом писателей-неудачников. Он считал, что Теккерей вполне заслужил славу любимого писателя мелких конторских служащих, а Карлейль, по его мнению, был только добросовестным ремесленником. Современной литературы он не читал, что не мешало ему критиковать ее и относиться к ней с пренебрежением. Из всех писателей девятнадцатого века он ценил только нескольких французских романистов, о которых никто, кроме него, ничего не слыхал. Он имел свое собственное мнение о господе боге и заявлял, что не хотел бы попасть на небо потому, что там наверняка засели все клефемские ханжи и святоши. От юмористических произведений он впадал в тоску, а от сентиментальных-заболевал. Искусство раздражало его, а науку он находил скучной. Он презирал свою собственную семью и не любил чужих. Для моциона он зевал, а участие его в разговоре проявлялось обычно в том, что, при случае, он пожимал плечами.

Его никто не любил, но все уважали. Казалось, живя среди нас, он делает нам снисхождение и мы должны быть благодарны ему за это.

Но вот что случилось. Однажды летом я занимался рыбной ловлей по ту сторону от Норфольк-Брод. В один прекрасный праздничный день мне вдруг пришло в голову, что неплохо было бы понаблюдать лондонского 'Арри во всем его блеске, и я поехал в Ярмут. Вечером я вышел на Приморский бульвар и сразу же наткнулся на подходящую компанию из четырех чрезвычайно типичных лондонских парней. Держась под руку и пошатываясь, они неудержимо неслись по панели. Тот, который шел с краю, играл на хриплой гармонике, а трое других орали известную тогда во всех мюзик-холлах песенку о прелестной Хэммочке.

Они шли во всю ширину тротуара, заставляя встречных женщин и детей сворачивать на мостовую. Я остался стоять на панели, и когда они прошли мимо, почти задевая меня, лицо парня с гармоникой показалось мне странно знакомым. Я повернулся и пошел следом за ними. Они веселились вовсю. Каждой девушке, которая попадалась им навстречу, они кричали: «Эй ты, моя конфеточка!», а к пожилым дамам обращались со

словом «мамаша». Самым шумным и самым вульгарным был парень с гармоникой.

Я пошел вслед за ними на мол, обогнал их и стал ждать под газовым фонарем. Когда человек с гармоникой попал в полосу света, я вздрогнул: я мог бы присягнуть, что это Джозеф. Однако все остальное никак не вязалось с подобным предположением. Не говоря уже о времени и месте, где я его встретил, о его поведении, приятелях и гармонике, еще масса мелочей делала такую мысль совершенно нелепой. Джозеф всегда был чисто выбрит; у этого молодчика были грязные усы и жиденькие рыжие бакенбарды, он щеголял в кричащем клетчатом костюме, какие обычно видишь только на сцене. На ногах его блестели лакированные ботинки с перламутровыми пуговицами, а галстук в прежние строгие времена навлек бы на себя громы небесные. На голове у него был маленький котелок, а во рту — большая зловонная сигара.

И все-таки лицом он походил на Джозефа, и я, подстрекаемый любопытством, стал следить за ним, стараясь не отстать от его компании.

Один раз я чуть не потерял его из виду, по в таком костюме он не мог надолго затеряться в толпе, и вскоре я снова нашел его. Он сидел на самом конце мола, где было меньше народа, и обнимал за талию молодую девушку. Я подкрался как можно ближе. Его подруга оказалась веселой, краснощекой, довольно хорошенькой, но чрезвычайно вульгарной. Ее шляпа лежала рядом на скамейке, а голова покоилась на плече парня. Она казалась очень влюбленной, но ему, по-видимому, было с нею скучно.

«Ты любишь меня, Джо? Говори, любишь?» — услышал я ее шепот.

«А как же, люблю», — ответил он довольно небрежным тоном.

Она нежно похлопала его по щеке, но он не ответил на эту ласку, а несколько минут спустя, пробормотав какое-то извинение, встал и один, без нее, пошел к буфету.

Я последовал за ним. У дверей он встретил своего собутыльника.

«Эй, — окликнул тот, — куда ж ты подевал Лизу?»

«А ну ее, — услышал я, — уж очень она мне надоела, Если хочешь, иди проводи с ней время».

Приятель его пошел туда, где осталась Лиза, а Джо протискался в буфет. Я не отставал от него, и теперь, когда он был один, решил заговорить с ним. Чем дольше я вглядывался в его черты, тем больше я находил в них сходства с моим недосягаемым другом Джозефом.

В буфете он навалился на стойку и громко потребовал двойную порцию джина. Тут я хлопнул его по плечу, он обернулся, увидел меня, и лицо его покрылось мертвенной бледностью.

«Мистер Джозеф Смайт, если не ошибаюсь?» — сказал я с улыбкой.

«Какой еще там Смайт! — грубо оборвал он меня. — Я Смит, а не какой-то там дурацкий Смайт. А вы кто будете? Я вас не знаю».

Пока он говорил, я заметил на его левой руке характерный золотой перстень индийской работы. Тут уж я никак не мог ошибиться: мы много раз рассматривали его в клубе, как исключительно интересную вещицу. Парень уловил мой взгляд, лицо его исказилось и, толкнув меня в угол, где было меньше народа, он сел, глядя мне прямо в глаза.

«Не выдавай меня, старина, — прохныкал он, — ради бога не выдавай, а то, если здешние парни пронюхают, что я — один из восковых болванов сентджеймской коллекции, они и знаться со мной не захотят. И ты, смотри. Того: молчок про Оксфорд, не будь подлецом. На кой им знать, что я из тех типов, которые учатся в колледжах».

Я был ошеломлен. Он просил меня не раскрывать тайны Смита, завзятого лондонского 'Арри, знакомым Смайта, недосягаемой персоны. Передо мной сидел Смит в смертельном страхе, как бы его собутыльники не узнали, что он и аристократ Смайт одна и та же личность, и не выставили бы его вон.

Тогда его поведение удивило меня, но потом, все обдумав, я понял, что именно этого и следовало от него ожидать.

«Ну что ты тут поделаешь, — продолжал он, — хошь не хошь, а веди двойную жизнь. Половину времени я — задавака и хлыщ, которому надо бы дать хорошего пинка в зад…»

«Однако, — перебил я его, — раньше вы исключительно нелюбезно отзывались как раз о таких вот лондонских 'Арри».

«Знаю, — согласился он, и голос его задрожал от волнения, — в том-то вся и беда. Когда я джентльмен, то мне тошно глядеть на себя, потому как я знаю: какую бы рожу ни корчил, но под низом я все одно самый последний 'Арри. А когда я 'Арри, то так бы и разорвал себя, потому как знаю, что я все одно джентльмен».

«Неужели же вы не можете решить, которая из ваших двух личностей вам ближе, и держаться за нее покрепче?» — спросил я.

«Куда там, — отвечал он, — в том-то и дело, что не могу. Удивительная это штука, но кем бы я ни становился, к концу месяца, хоть убей, мне уже тошно глядеть на себя».

«Сейчас я был самим собой, — продолжал он, — дней этак с десяток, В одно прекрасное утро, недельки через три, продеру я глаза у себя на Майль-Энд-род, осмотрю свою комнату, взгляну на „это вот“ платье, висящее над кроватью, и на „эту вот“ гармонику (он ласково похлопал ее)

и почувствую, что краснею до самых лопаток. Потом я спрыгну с постели и подойду к зеркалу. „Эх ты, морда, жалкий, ничтожный хам, — скажу я сам себе, — вот так бы взял да и задушил тебя своими собственными руками“. Затем я побреюсь, надену приличный синий костюм и котелок, велю хозяйке присматривать за моими комнатами, пока меня не будет, выскользну из дома, вскочу в первый попавшийся кеб и поеду назад на Олбэни. А месяц спустя приду в свою квартиру на Олбэни, швырну Вольтера и Парини в огонь, повешу шляпу на бюст старика Гомера, снова надену свою синюю тройку и дерну назад на Майль-Энд-род».

«А как вы объясняете свое отсутствие в обоих случаях?» — спросил я.

«Ну, это проще простого, — ответил он. — Своей экономке на Олбэни я говорю, что уезжаю за границу, а здешние приятели считают меня коммивояжером. Все одно никто по мне не сохнет, — прибавил он патетическим тоном. — Не шибко я кому-нибудь нужен, что на Олбэни, что здесь. Такая уж я неприкаянная головушка. Когда я 'Арри, то слишком уж хватаю через край, а когда я джентльмен, то самый что ни на есть первосортный джентльмен. Ну точь-в-точь, будто во мне две крайности, а середины-то и нет. Вот взять бы и соединить два края, тогда я был бы человек что надо».

Он шмыгнул носом раза два, а потом рассмеялся. «Э, чего там еще, — сказал он, стряхнув набежавшее на него уныние. — Жизнь-игра; выиграешь ты или проиграешь — все одно, лишь бы повеселиться. Пойдем промочим глотку?»

Я отказался «промочить глотку» и ушел, а он продолжал наигрывать сентиментальные мелодии на своей гармонике.

Однажды вечером, примерно месяц спустя, горничная подала мне визитную карточку, на которой стояло: «Мистер Джозеф Смайт».

Я велел просить его. Он вошел со своим обычным видом томного высокомерия, сел на диван и принял изящную позу.

«Итак, — начал я, как только горничная закрыла за собой дверь, — вы, значит, освободились от „Смита“?» Болезненная улыбка исказила его лицо.

«Но вы никому ничего не говорили об этом?» — с волнением спросил он.

«Ни одной живой душе, — ответил я, — хотя, сознаюсь, меня часто мучило искушение».

«И я надеюсь, что вы никогда этого не сделаете? — продолжал он с тревогой в голосе. — Вы не можете себе представить, как все это ужасно. Я просто не понимаю, какое может быть сходство между мной и этим ничтожным пошляком? Непостижимо! Уверяю вас, мой дорогой Мак, если

бы я узнал, что бываю кровопийцей, вампиром, то это не угнетало бы меня так, как сознание, что я и этот гнусный тип из Уайтчепля одно и то же лицо. От такой мысли каждый мой нерв…»

Увидев, что он с трудом сдерживает волнение, я прервал его:

«Не думайте о нем больше. Я уверен, что вы пришли ко мне не для того, чтобы говорить о нем».

«Нет, видите ли, — возразил он, — до некоторой степени мой приход связан именно с ним. Простите, что я надоедаю вам, но вы единственный человек, с которым я могу говорить об этом, если только вам не скучно».

«О нет, нисколько, — ответил я, — наоборот, это мне очень интересно».

И так как он все еще колебался, то я прямо спросил его, в чем же дело.

Он казался смущенным.

«Все это очень глупо с моей стороны, — начал он, и при этом слабый намек на румянец окрасил его бледные щеки, — но дело в том, мой дорогой Мак, что я влюблен».

«Чудесно, — воскликнул я, — вы приводите меня в восторг! (У меня мелькнула мысль, что это могло бы сделать его настоящим человеком.) Я с ней знаком?»

«Я склонен думать, что вы видели ее, — ответил он, — она была со мной на молу в Ярмуте, в тот вечер, когда мы встретились».

«Как, неужели это Лиза?» — вырвалось у меня.

«Да, она; мисс Элизабет Маггинз». Он с нежностью произнес ее имя.

«Но, — не удержался я, — мне показалось, что она вам совсем не нравится. Из нескольких слов, которые вы бросили тогда одному из ваших друзей, я понял, что ее общество было вам даже неприятно».

«Не мне, а Смиту, — перебил он меня. — Но как может судить о женщине этот гнусный тип? То, что она ему не нравится, только свидетельствует о ее достоинствах».

«Может быть, я ошибся, — заметил я, — но мне показалось, что она немного простовата».

«Да, пожалуй, она не совсем то, что в свете принято называть леди, — согласился он, — но видите ли, мой дд-рогой Мак, я не столь высокого мнения о свете, чтобы его мнение могло иметь для меня значение. Я и свет, мы расходимся по многим пунктам, и я горжусь этим. Она хорошая, красивая девушка, и она моя избранница».

«Лиза — славная девушка, — согласился я, — и, очевидно, добрая, но подумайте, Смайт, достаточно ли она… ну. как это сказать… достаточно ли она развита для вас?»

«По правде сказать, — возразил он с одной из своих насмешливых улыбок, — я не очень интересовался ее интеллектом. Для того чтобы создать настоящий английский семейный очаг, вполне достаточно моего собственного интеллекта. В этом нет для меня ни малейшего сомнения. Мне не нужна развитая жена. Приходится, конечно, встречаться с надоедливыми людьми, но зачем же жить с ними, если можно этого избежать?»

«Нет, — продолжал он, возвращаясь к своему обычному тону, — чем больше я думаю об Элизабет, тем больше убеждаюсь, что она — единственная женщина, которая может стать моей женой. Согласен, что поверхностному наблюдателю мой выбор может показаться странным. Я не собираюсь объяснять его другим или осмыслять его сам. Познать человека — свыше человеческих сил. Одни безумцы пытаются делать это. Может быть, меня привлекает в Элизабет то, что она — моя полная противоположность. Может быть, слишком одухотворенная личность для своего дальнейшего совершенствования нуждается в соприкосновении с более грубой материей. Трудно сказать. Подобные вещи должны всегда оставаться под покровом тайны. Я знаю только то, что люблю ее, и, если меня не обманывает моя интуиция, она — та подруга, к которой ведет меня Артемида».

Ясно было, что он влюблен, и я перестал с ним спорить.

«Так, значит, бы продолжаете с ней встречаться и теперь (я чуть было не сказал: „когда вы уже больше не Смит“, но побоялся расстроить его, лишний раз упомянув это имя), когда вы вернулись на Олбэнн?»

«Не совсем так, — ответил он. — Когда я уехал из Ярмута, то потерял ее из виду и снова встретил только пять дней тому назад, в небольшой чистенькой кондитерской. Я зашел туда, чтобы выпить стакан молока с кексом, и, представьте себе, подала мне их она. Я сразу узнал ее».

Здесь лицо его осветилось настоящей человеческой улыбкой.

«Теперь, каждый день в четыре часа, я пью там чай», — прибавил он и взглянул на стоявшие на камине часы.

«О том, как она относится к вам, нечего и спрашивать, — сказал я смеясь, — ее чувства к вам были совершенно очевидны».

«Но самое странное во всей этой истории то, — продолжал он, и прежнее смущение снова овладело им, — что теперь я ей совсем не нравлюсь. Она просто гонит меня. Выражаясь собственными словами прелестной малютки, она не хочет меня „ни за какие деньги“. Она заявила, что выйти за меня замуж-это все равно что вступить в брак с заводной игрушкой, ключ от которой потерян. Ее слова скорее откровенны, нежели

любезны, но мне это нравится».»

«Позвольте, — перебил я его, — а знает ли она, что вы и Смит это одно и то же лицо?»

«Что вы! — с тревогой ответил он. — Она ни в коем случае не должна этого знать. Вчера она заметила, что я похож на одного парня из Ярмута, и я просто похолодел от ужаса».

«А с каким видом сказала она это?»

«То есть как с каким видом?» — повторил он, не понимая.

«Каким тоном говорила она об этом парне — сурово или ласково?»

«А знаете, — ответил он, — теперь, когда я вспоминаю ее слова, мне кажется, что, говоря о парне из Ярмута, она как-то потеплела».

«Мой милый друг, — сказал я, — все ясно как день. Она любит Смита. Ни одна девушка, которой нравится Смит, не может увлечься Смайтом. В вашем настоящем виде вы никогда не покорите ее. Отложите дело до того времени, когда станете Смитом, что случится, очевидно, через несколько недель. Сделайте ей предложение в образе Смита, и она примет его. А после брака вы сможете, мало-помалу и осторожно, познакомить ее со Смайтом».

«Черт возьми, — воскликнул он, забывая свою обычную флегматичность, — я не подумал об этом! Ведь когда я в здравом уме, то Смит и все, что его касается, представляется мне просто сном, и мысль о нем просто не пришла бы мне в голову».

Он поднялся и протянул мне руку. «Я так рад, что зашел к вам, — проговорил он. — Ваш совет почти примиряет меня с моей ужасной судьбой. Теперь я, пожалуй, даже с нетерпением буду ждать того времени, когда на целый месяц стану Смитом».

«Очень приятно, — ответил я, пожимая его руку. — Не забудьте же зайти и рассказать мне все подробно. Чужие любовные дела обычно не особенно интересны, но ваш случай такой необыкновенный, что может считаться исключением из правила».

Мы расстались, и я не видел его в течение целого месяца. Но однажды, поздно вечером, горничная явилась ко мне со словами, что меня хочет видеть мистер Смит.

«Смит, Смит, — пробормотал я, — какой Смит? Разве он не дал вам визитной карточки?»

«Нет, сэр, — ответила девушка, — он не из тех, что имеют визитные карточки. Это не джентльмен, сэр. Но он говорит, что вы знаете его».

Было ясно, что она ему не поверила.

Я готов был сказать, что меня нет дома, но вспомнил вдруг вторую

личину Смайта и велел провести его к себе.

Он вошел не сразу. На нем был костюм еще более крикливого покроя, чем прежде, если только это возможно. Я подумал, что он, должно быть, сам изобрел для себя такой фасон. Он был потный и грязный. Вместо того чтобы протянуть мне руку, он робко сел на краешек стула и осмотрелся кругом с таким видом, как будто впервые видел мою комнату.

Его застенчивость передалась мне, я не знал, что сказать, и некоторое время мы просидели в неловком молчании.

«Ну, — решился я наконец и, следуя методу застенчивых людей, сразу взял быка за рога. — Как поживает Лиза?»

«Лиза? А что ей делается!» — отвечал он, не отводя глаз от шляпы, которую держал в руках.

«Вы добились своего?» — продолжал я.

«Чего это?» — переспросил он, поднимая глаза.

«Вы женились на ней?»

«Как бы не так», — ответил он и снова возвратился к созерцанию своей шляпы.

«Как, неужели она отказала вам?» — изумился я.

«А я ее и не спрашивал, — сказал он. — Очень она мне нужна!»

Я понял, что сам он не станет ничего рассказывать и что мне придется вытягивать из него все по кусочку.

«Но почему же? — продолжал я допытываться. — Разве вы перестали ей нравиться?»

Он грубо засмеялся:

«Ну, этого нечего, бояться: она липнет ко мне, что твой пластыре не сойти мне с этого места, коли вру. И никак мне от нее не отвязаться. Эх, ушла бы она к кому другому, а то у меня она вот где сидит!»

«Но вы с таким восторгом отзывались о ней всего месяц тому назад!» — вырвалось у меня.

«Так ведь то был Смайт. От этого накрахмаленного болвана всего можно ожидать. Но пока я Смит, меня не проведешь, я малый не промах. С такими девчатами хорошо проводить время, — продолжал он, — но жениться — черта с два, на таких не женятся. Мужчина должен свою жену уважать. Нужно, чтобы она стояла на ступеньку-другую повыше тебя и тянула тебя за собой. Чтоб ты смотрел на нее снизу вверх и почитал. Хорошая жена-это богиня, это ангел».

«Похоже на то, что вы уже встретили подходящую леди», — перебил я его.

Он густо покраснел и стал рассматривать узоры на ковре. Потом он

снова поднял голову, и я увидел, что лицо его совершенно преобразилось.

«О мистер Мак-Шонесси, — воскликнул он, и в голосе его прозвучала нотка настоящей мужественной страсти, — до чего же она хороша, до чего прекрасна! Смею ли я, ничтожный, даже мысленно произносить ее имя! А какая образованная! Впервой я увидел ее в Тойнбихолл, где в аккурат собрались самые отборные леди и джентльмены. О если бы вы могли только ее слышать, мистер Мак-Шонесси! Она ходила со своим папашей и все веселила его: смеялась и над картинами, и над людьми. Ах, до чего же она остроумная, до чего ученая, и… какая гордая! Когда они пошли к выходу, я побежал за ними, открыл перед ней дверцу коляски, а она подобрала платье и посмотрела на меня ну прямо как на грязь под ногами. Ах, если бы я в самом деле был грязью, я мог бы надеяться хоть когда-нибудь облобызать ее ножки».

Его чувства были так искренни, что я не мог смеяться над ними.

«А вы не разузнали, кто она?» — спросил я.

«Как же, как же, — ответил он, — я слышал, как старый джентльмен крикнул кучеру „домой“, и я бежал вслед за ними до самой Харлей-стрит. Тревиор, вот как ее зовут, Хэдит Тревиор».

«Мисс Эдит Тревиор! — вырвалось у меня. — Небрежно причесанная высокая брюнетка с близорукими глазами?»

«Высокая брюнетка, — подтвердил он, — кудри ее так и падают локонами к самым губкам, будто хотят поцеловать их, а глазки у нее небесно-голубые, совсем как галстуки у кэмбриджских школяров. Номер ее дома — сто семьдесят три, вот как».

«Все это очень хорошо, мой дорогой Смит, — сказал я, — но вот что странно: ведь вы видели эту леди и с полчаса говорили с ней, будучи Смайтом. Разве вы этого не помните?»

«Нет, — ответил он, подумав, — что-то я этого не припомню. У, меня просто вылетает из головы все, что случается со Смайтом. Он для меня какой-то дурной сон».

«Но во всяком случае вы уже видели ее, — продолжал я настаивать. — Я сам представил вас ей, а потом она мне созналась, что вы произвели на нее самое приятное впечатление».

«Как, неужто? — воскликнул он, явно смягчаясь в отношении Смайта. — А что, мне-то она тогда понравилась?»

«Сказать вам по правде, — ответил я, — не очень. Во время разговора с ней у вас был довольно-таки скучающий вид».

«Вот дурак-то, — пробормотал он и затем вслух прибавил. — А как вы думаете, удастся мне увидеть ее опять, когда… ну, когда я снова

обернусь Смайтом?»

«Конечно, — заверил я его, — и я сам об этом позабочусь. Да, кстати, — прибавил я, вскакивая и подходя к каминной полке, — вот как раз приглашение к ним на вечер двадцатого ноября; они, кажется, празднуют чье-то рожденье. Будете ли вы к этому числу Смайтом?»

«А то как же, ясно, что буду, — ответил он, — обязательно буду».

«Ну вот и прекрасно. Я зайду за вами на Олбэни, и мы отправимся к ним вместе».

Он встал и начал чистить рукавом свою шляпу. «Первый раз за всю свою жизнь, — медленно проговорил он, — я жду того времени, когда стану этим живым мертвецом, Смайтом. И черт меня побери, если я не расшевелю его как следует, чего бы мне это ни стоило; уж как он там ни крути, а расшевелю».

«Он вам не понадобится раньше двадцатого, — напомнил я. — Кроме того, — прибавил я, вставая, чтобы позвонить, — вы уверены, что теперь это уже окончательно и что вы не вернетесь больше к Лизе?»

«Не поминайте Лизу, когда говорите о Хэдит, — возмутился он. — Нечего поганить святое имя Хэдит».

Он взялся было за дверную ручку, но в раздумье остановился. Наконец, открыв дверь и упрямо глядя на свою шляпу, он прибавил:

«Теперь я пойду на Харлей-стрит. Как вечер, так я хожу под ее окнами, а иногда, когда никого нет кругом, целую порог дома».

С этими словами он ушел, а я вернулся к своему креслу.

Двадцатого ноября я, как было условлено, зашел за ним на Олбэни-стрит. Он собирался идти в клуб: он забыл все, о чем мы говорили. Я напомнил ему наше свидание, он с трудом восстановил его в памяти и согласился пойти со мной, по безо всякого восторга.

У Тревиоров, при помощи ловких намеков в разговоре с матерью Эдит, включая брошенное вскользь упоминание о доходах Смайта, мне удалось повернуть дело так, что он и Эдит могли провести вместе почти весь вечер. Я гордился своей удачей, и когда мы возвращались домой, ожидал, что он рассыплется в благодарностях. Но он медлил, и тогда я позволил себе заговорить первый.

«Ну, — начал я, — ловко я все устроил?»

«Что именно устроили?»

«То, что вы и мисс Тревиор так долго оставались одни в оранжерее, — ответил я, немного обиженный. — Ведь я нарочно сделал это. для вас».

«Так этому виной были вы! — прервал он меня. — А я-то все время проклинал свою судьбу».

Я остановился как вкопанный посреди улицы и посмотрел ему в лицо.

«Разве вы не любите ее?» — спросил я.

«Люблю? — повторил он, пораженный. — Но что в ней любить? Мисс Тревиор — плохая копия с героини современной французской комедии, к тому же лишенная изюминки».

Это наконец надоело мне.

«Месяц тому назад, — заявил я, — вы были у меня и говорили о ней с восторгом, мечтали быть грязью под ее ногами и сознались, что по ночам целуете порог ее дома».

Он густо покраснел.

«Я просил бы вас, мой дорогой Мак, — сказал он, — быть настолько любезным, чтобы не смешивать Меня с этим ничтожным хамом, к которому я, к несчастью, имею некоторое отношение. Вы премного обяжете меня, если в следующий раз, когда он опять явится к вам со своей вульгарной болтовней, без всяких церемоний спустите его с лестницы. Впрочем, — продолжал он с усмешкой, — нет ничего удивительного в том, что мисс Тревиор оказалась его идеалом. Дамы этого рода должны нравиться именно таким типам. Что касается меня, то я не люблю женщин, интересующихся искусством и литературой… Кроме того, — продолжал он более серьезным тоном, — вы ведь знаете мои чувства. Для меня никогда не будет существовать никакой другой женщины, кроме Элизабет».

«А она?» — спросил я.

«Она, — вздохнул он, — она безнадежно влюблена в Смита».

«Почему же вы не откроете ей, что вы и есть Смит?» — спросил я.

«Я не могу, — ответил он, — я не могу этого сделать даже для того, чтобы завоевать ее сердце. Впрочем, она мне и не поверит».

Мы расстались на углу Бонд-стрит, и я не видел его до конца марта, когда случайно столкнулся с ним на площади Ладгейт-сэркус. Он был в своем «переходном» синем костюме и котелке./Я подошел к нему и — взял его под руку.

«Ну, кто вы сейчас?» — спросил я.

«В данный момент, слава богу, никто, — ответил он. — Полчаса тому назад я был Смайтом, через полчаса я стану Смитом. В настоящие же полчаса я — человек».

Он говорил приятным, сердечным тоном, глаза его горели теплым, приветливым огоньком, и держал он себя как истый джентльмен.

«Сейчас вы гораздо лучше, чем любой из них!» — вырвалось у меня.

Он засмеялся веселым смехом, в котором, однако, слышался

некоторый оттенок грусти.

«Знаете ли вы, как я представляю себе рай?» — спросил он.

«Нет», — ответил я, несколько удивленный его вопросом.

«В виде площади Ладгейт-сэркус, — ответил он. — Единственные хорошие минуты моей жизни все прошли недалеко от этой площади. Когда я ухожу с Пикадилли, я — нездоровый, никчемный сноб. На Черингкросс кровь в моих жилах начинает приходить в движение. От площади Ладгейт-сэркус до Чипсайда я — настоящий человек, с настоящими человеческими чувствами в сердце и настоящими человеческими мыслями в голове, с мечтами, привязанностями и надеждами. Около банка я начинаю все забывать; по мере того как иду дальше, мои ощущения грубеют и притупляются, и в Уайтчепле я уже ничтожный и необразованный хам. Когда я возвращаюсь назад, то все это повторяется в обратном порядке».

«Почему бы вам не поселиться тогда на Ладгейт-сэркус и не быть всегда таким, как сейчас?» — спросил я.

«Потому что, — объяснил он, — человек-это маятник, и он должен проделать весь предназначенный ему путь».

«Мой дорогой Мак, — продолжал он, положив руку мне на плечо, — в моей судьбе хорошо только то, что из нее можно вывести мораль: человек всегда остается таким, каким он создан. Не воображайте, что вы можете разбирать его.на части и улучшать по своему разумению. Всю свою жизнь я противоестественно стремился сделать себя высшей личностью. Природа отплатила мне тем, что одновременно сделала меня противоестественно низкой личностью. Природа ненавидит однобокость. Она создает человека как единую личность, и он должен развиваться как нерушимое целое. Когда я встречаю чересчур благочестивого, чересчур добродетельного или чересчур умного человека, то всегда думаю: а не таят ли они в себе свою собственную скрытую противоположность?»

Такая мысль совершенно сразила меня, и некоторое время я шел рядом с ним молча. Наконец, подстрекаемый любопытством, я спросил, как идут его любовные дела.

«О, как обычно, — отозвался он, — я попадаю то в один, то в другой тупик. Когда я Смайт, то люблю Элизу, а Элиза не хочет меня. Когда я Смит, то люблю Эдит, которая содрогается от одного моего вида. Это одинаково грустно и для них и для меня. Я говорю так не из хвастовства. Видит бог, что обе эти девушки — лишняя капля горечи в моей чаше; но Элиза на самом деле буквально изнывает от любви к Смиту, а я, бывая Смитом, не могу заставить себя относиться к ней хотя бы вежливо. Тогда как Эдит, бедная девушка, была настолько неосторожна, что отдала свое

сердце Смайту, а когда я Смайт, то вижу в ней только оболочку женщины, набитую шелухой учености и обрывками чужого остроумия».

Я шел некоторое время, погруженный в свои собственные думы, но когда мы стали пересекать улицу Майнорис, меня внезапно осенила еще одна мысль и я сказал:

«А почему бы вам не поискать какой-нибудь третьей девушки? Ведь должна же быть какая-то средняя девушка. которая нравилась бы и Смайту и Смиту и которая ладила бы с обоими?»

«Ну, с меня хватит и этих двух, — ответил он. — Свяжешься с ними, а от них тебе одни заботы и никакого удовольствия. Та, что тебе нравится, — держи карман, так ты ее и получишь! А та, что сама лезет, кому она нужна!»

Я вздрогнул и поднял на него глаза. Он шел неуклюжей походкой, засунув руки в карманы, с бессмысленным взглядом на тупом лице. Меня охватило отвращение.

«Ну, мне пора, — сказал я, останавливаясь, — я не предполагал, что зашел так далеко».

Казалось, он был так же рад избавиться от меня, как я от него.

«Да? — сказал он, протягивая мне руку. — Ну, до скорого!»

Мы небрежно попрощались, он исчез в толпе, и больше я с ним не встречался.

— И все это было на самом деле? — спросил Джефсон.

— Я изменил имена и даты, — ответил Мак-Шонесси, — но уверяю вас, что самые факты взяты из жизни.

Глава X

На прошлом собрании мы обсуждали вопрос, кем будет наш герой.

Мак-Шонесси хотел сделать его писателем, V. тем чтобы в роли злодея выступал критик.

Я предложил биржевого маклера с некоторой склонностью к романтизму. Джефсоп, у которого был практический ум, заявил:

— Дело не в том, какие герои нравятся нам, а какие герои нравятся женщинам, читающим романы.

— Вот это правильно, — согласился Мак-Шонесси. — Давайте соберем по этому поводу мнения различных женщин. Я напишу своей тетке и узнаю от нее точку зрения престарелой леди. Вы, — обернулся он ко мне, — расскажите, в чем дело, вашей жене и выясните, каков идеал современной молодой дамы. Браун пускай напишет своей сестре в Ньюхэм и узнает настроение передовой образованной особы, а Джефсон может спросить у мисс Медбэри, какие мужчины нравятся обыкновенным здравомыслящим девушкам.

Так мы и сделали, и теперь нам оставалось только рассмотреть полученные результаты. Мак-Шонесси начал с того, что вскрыл письмо своей тетки. Старая леди писала:

«Мне кажется, мой дорогой мальчик, что на вашем месте я выбрала бы военного. Твой бедный дедушка, который убежал в Америку с этой ужасной миссис Безерли, женой банкира, был военным, и твой кузен Роберт, тот самый, который проиграл в Монте-Карло восемь тысяч фунтов, был тоже военным. Меня с самой ранней юности всегда привлекали военные, хотя твой дорогой дядя их совершенно не переносил.

Кроме того, о воинах много говорится в Ветхом завете (например, в книге пророка Иеремии, глава XLVII, стих 14).

Конечно, нехорошо, что они все время дерутся и убивают друг друга, но ведь в наши дни они, кажется, этого больше не делают.

— Таково мнение старой леди, — сказал Мак-Шонесси, складывая письмо и пряча его в карман. — Посмотрим, что скажет современная образованная особа.

Браун достал из своего портсигара письмо, написанное уверенным, округлым почерком, и прочел следующее:

«Какое удивительное совпадение! Как раз вчера вечером, у Милисент Хайтопер, мы обсуждали тот же самый вопрос и вынесли единогласное

решение в пользу военных.

Видишь ли, мой милый Селкирк, человеческую природу всегда влечет к себе противоположное.

Поэт пленил бы юную модисточку, но для мыслящей женщины он был бы невыразимо скучен. Образованной девушке мужчина нужен не для того, чтобы рассуждать с ним на высокие темы, а для того, чтобы любоваться им. Я уверена, что дурочка нашла бы военного скучным и неинтересным, но для мыслящей женщины военный-это идеал мужчины, существо сильное, красивое, одетое в блестящую форму и не слишком умное».

Браун порвал письмо и бросил клочки его в корзину для бумаг.

— Итак, вот уже два голоса в пользу армии, — заявил Мак-Шонесси, — послушаем теперь здравомыслящую девушку.

— Сначала нужно еще найти эту здравомыслящую девушку, — буркнул Джефсон довольно унылым, как мне показалось, тоном, — а это не так-то легко.

— Как? — удивился Мак-Шонесси. — А мисс Медбэри? Обычно при упоминании этого имени на лице Джефсона появлялась счастливая улыбка, но сейчас оно приняло скорее сердитое выражение.

— Вы так полагаете? — произнес он. — Ну, в таком случае здравомыслящая девушка тоже любит военных.

— Ах ты, черт побери! — вырвалось у Мак-Шонесси. — Вот так штука! А как она это объясняет?

— Она говорит, что в военных есть что-то особенное и что они божественно танцуют, — сухо заметил Джефсон.

— Вы удивляете меня, — пробормотал Мак-Шонесси, — я просто поражен.

А что говорит молодая замужняя леди? — обратился он ко мне. — То же самое?

— Да, — отвечал я, — совершенно то же самое.

— А объяснила она вам почему? — продолжал допытываться Мак-Шонесси.

— По ее мнению, военные просто не могут не нравиться, — сообщил я.

После этого мы некоторое время сидели молча, вздыхали и курили. «И зачем только мы затеяли этот опрос?» — казалось, думал каждый.

То, что четыре совершенно различные по своему характеру образованные женщины так не по-женски быстро и единодушно выбрали своим идеалом военных, было, конечно, не особенно лестно для четырех

штатских. Если бы дело шло о няньках или горничных, ну тогда это еще можно было бы понять.

Венера с белым чепчиком на голове все еще продолжает преклоняться перед Марсом, и это одно из последних проявлений религиозного чувства в наше безбожное время.

Год тому назад я жил рядом с казармами и никогда не забуду, что делалось перед их широкими чугунными воротами по воскресеньям после полудня.

Около двенадцати часов здесь уже начинали собираться девушки. К двум часам, когда воины с напомаженными головами и тросточкой в руке готовы были к прогулке, их ожидал длинный ряд из четырех или пяти сот женщин. Прежде они толпились в хаотическом беспорядке, и когда солдаты выходили по двое из ворот, женщины бросались на них, как львы на христианских мучеников.

Это приводило, однако, к таким грубым сценам, что полиция вынуждена была вмешаться, и девушки стали выстраиваться «в очередь», попарно, а специально наряженный для этой цели отряд констеблей следил за тем, чтобы они стояли на местах и ждали своей очереди.

В три часа часовой выходил и закрывал калитку.

«Все уже вышли, мои милочки, — кричал он оставшимся девушкам, — нечего вам больше здесь делать! Сегодня у нас больше нет для вас парней».

«Как, ни одного больше? — начинала умолять какая-нибудь бедная малютка, и ее большие круглые глаза наливались слезами. — Ни одного, хотя бы самого маленького? А я так долго ждала!»

«Ничего не поделаешь, — отвечал часовой грубовато, но добродушно и отворачивался, чтобы скрыть свои собственные чувства. — Вы, милочки, уже получили все, что вам причиталось. У нас ведь не фабрика солдат. На сегодня у нас больше нет, значит, и получать нечего, это ясно само собой. Приходите в следующий раз пораньше».

Затем он спешил уйти, чтобы избежать дальнейших неприятностей, а полиция, которая как будто только и ждала этой минуты, с насмешками начинала разгонять остатки плачущих женщин.

«Эй вы там, ну-ка пошевеливайтесь; расходитесь, девушки, расходитесь, — говорили констебли своими раздражающе несимпатичными голосами. — Прозевали вы на этот раз свое счастье! Нельзя же полдня загораживать улицу. Что это еще за демонстрация девушек, не нашедших для себя парней! А ну, расходитесь!»

В связи с этими же казармами наша поденщица рассказала Аменде,

Аменда — Этельберте, а эта последняя — мне интересную историю, которую я теперь повторил своим товарищам.

В некий дом, на некой улице, поблизости от этих самых казарм, переехала в один прекрасный день некая семья. Незадолго до того у них ушла прислуга-почти все их слуги уходили от них в конце первой же недели, — и на следующий день после переезда они составили и послали в «Хронику» следующее объявление:

«Нужна прислуга в небольшую семью из одиннадцати человек. Жалованье-6 фунтов. Пива не полагается. Желательна привычка рано вставать и умение много работать. Стирка на дому. Должна хорошо стряпать и не отказываться мыть окна. Предпочтительна принадлежность к унитарианской церкви. Рекомендация обязательна. Обращаться к А.Б. … и т.д.».

Это объявление было послано в среду после обеда, а в четверг в семь часов утра вся семья проснулась от непрекращающихся звонков с парадного хода: Муж выглянул в окно и с изумлением увидел толпу примерно из пятидесяти девушек, окруживших дом.

Он набросил халат и спустился вниз, чтобы узнать, в чем дело, но не успел он открыть дверь, как десятка полтора девушек ворвались в дом с такой силой, что сбили его с ног. Очутившись в прихожей, девушки быстро повернулись снова лицом к выходу, вытолкали остальных тридцать пять, или сколько их там было, назад на ступеньки и захлопнули дверь перед самым их носом. Потом они подняли хозяина на ноги и вежливо попросили провести их к А.Б.

Сначала из-за криков оставшихся на улице женщин, которые стучали кулаками в дверь и выкрикивали ругательства в замочную скважину, он ничего не мог разобрать. Но в конце концов он понял, что это прислуги, явившиеся по объявлению его жены. Тогда он пошел наверх, рассказал обо всем жене, и та решила поговорить по очереди с каждой из девушек.

Чрезвычайно сложным оказался вопрос, которая будет первой. Девушки обратились было к хозяину, но тот отвечал, что предоставляет решить это им самим, и они принялись своими силами улаживать дело.

Через четверть часа победительница, предварительно заняв у нашей поденщицы, которая ночевала в доме, несколько шпилек и зеркальце, поднялась наверх, в то время как остальные четырнадцать уселись в прихожей и стали обмахиваться своими чепчиками.

А. Б. была очень удивлена, когда перед ней предстала первая прислуга. Это была высокая, изящная и весьма приличная на вид девушка. До вчерашнего дня она служила старшей горничной у леди Стэнтон, а до

того в течение двух лет была младшей кухаркой у герцогини Йорк.

«Почему же вы ушли от леди Стэнтон?» — спросила А. Б.

«Чтобы поступить к вам, мэм», — отвечала девушка.

Хозяйка изумилась. «И вы удовольствуетесь шестью фунтами в год?» — спросила она.

«Конечно, мэм, я считаю, что этого вполне достаточно».

«И вы не боитесь тяжелой работы?»

«Я люблю ее, мэм».

«А привыкли вы рано вставать?»

«О да, мэм, я просто не в силах заставить себя спать после половины пятого».

«Вам известно, что мы стираем дома?»

«О да, мэм, я считаю, что гораздо лучше стирать дома. В этих прачечных только портят хорошее белье. Там стирают так небрежно».

«Принадлежите ли вы к. унитарианской церкви?»

«Нет еще, мэм, но я хотела бы присоединиться к ней».

Хозяйка просмотрела рекомендации и сказала девушке, что напишет ей.

Следующая претендентка объявила, что будет служить за три фунта, так как шесть — это слишком много. Она согласна спать на кухне. Тюфяк, брошенный на пол где-нибудь под раковиной, — вот все, что ей нужно. Она добавила, что ее также влечет к унитарианской церкви.

Третья девушка не требовала никакого жалованья. Она не могла понять, для чего прислуге вообще нужны деньги, они ведут только к нездоровому увлечению нарядами. Жизнь в добродетельной унитарианской семье должна быть для честной девушки дороже всякой платы. Она просила только об одном: чтобы ей позволили платить за все вещи, разбитые ею по неловкости или небрежности. Ей не нужно свободных дней и вечеров, так как это только отвлекает от работы.

Четвертая кандидатка предложила за место премию в пять фунтов.

Тут А.Б. стало просто страшно. Она решила, что это, должно быть, больные из соседнего сумасшедшего дома, которых выпустили на прогулку, и отказалась разговаривать с остальными девушками.

В тот же день после обеда, увидев на крыльце хозяйку соседнего дома, она рассказала ей о том, что произошло утром.

«О, в этом нет ничего удивительного, — успокоила ее соседка. — Никто из нас, живущих по эту сторону улицы, не платит прислуге жалованья, а вместе с тем у нас лучшие служанки во всем Лондоне. Чтобы поступить в один из этих домов, девушки съезжаются со всех концов

королевства. Это их заветная мечта. Они годами копят деньги, чтобы наняться потом здесь без жалованья».

«Но что же их сюда влечет?» — спросила А.Б., удивляясь все больше и больше.

«Как, разве вы не видите? — продолжала соседка. — Ведь окна наших кухонь выходят как раз на двор казармы. Девушка, живущая в одном из этих домов, будет всегда поблизости от солдат. Достаточно ей выглянуть из окна, чтобы увидеть солдата, а иногда он кивнет ей или даже окликнет. Здесь девушки и не мечтают о жалованье. Они готовы работать по восемнадцать часов в сутки и идут на любые условия, лишь бы согласились их держать».

А.Б. учла это обстоятельство и взяла девушку, которая предлагала пять фунтов премии. Она оказалась сокровищем, а не служанкой, всегда была неизменно почтительна и готова к любой работе, спала в кухне, а на обед довольствовалась одним яйцом.

Я не ручаюсь, что все, рассказанное здесь, истина, хотя сам думаю, что да. Браун и Мак-Шонесси придерживались другого мнения, и это было с их стороны не совсем по-товарищески, а Джефсон молчал под предлогом головной боли. Я согласен, что в этой истории есть места, с которыми трудно согласиться человеку со средними умственными способностями. Как я уже говорил, мне рассказала ее Этельберта, ей — Аменда, а той — поденщица, и в рассказ, конечно, могли вкрасться преувеличения.

Но следующую историю я наблюдал своими собственными глазами, и так как она является еще более ярким примером того, какую власть приобрел Томми Аткинс над сердцами британских служанок, то я решил рассказать ее товарищам.

— В данном случае героиней является, — начал я, — наша собственная Аменда, а вы ее, конечно, считаете вполне порядочной и добродетельной молодой особой?

— Ваша Аменда, по-моему, образец скромности и благопристойности, — подтвердил Мак-Шонесси.

— Таково было и мое мнение, — продолжал я. — Поэтому вы можете себе представить, что я почувствовал, когда однажды вечером на Фолькстон-стрит встретил ее в панаме (в моей панаме) и в обществе солдата, который обнимал ее за талию. Вместе с толпой зевак они шли за оркестром третьего Беркширского пехотного полка, который был расквартирован тогда в Сендгэйте. Взгляд у Аменды был восторженный и какой-то отсутствующий, она скорее приплясывала, чем шла, и левой рукой отбивала такт.

Мы с Этельбертой смотрели вслед этой процессии, пока она не скрылась из вида, а потом взглянули друг на друга.

«Но ведь это невозможно!» — сказала Этельберта мне. «Но ведь это — моя шляпа», — сказал я Этельберте. Как только мы пришли домой, Этельберта бросилась искать Аменду, а я свою панаму. Ни той, ни другой не оказалось на месте.

Пробило девять часов, потом десять. В половине одиннадцатого мы спустились вниз, сами приготовили себе ужин и тут же на кухне поужинали.

В четверть двенадцатого Аменда вернулась. Она молча вошла на кухню, повесила мою шляпу за дверью и принялась убирать со стола. Этельберта встала со спокойным, но строгим видом.

«Где вы были, Аменда?» — спросила она.

«Шаталась, как последняя дура, с этими несчастными, солдатами», — отвечала Аменда, продолжая свое дело.

«На вас была моя шляпа», — прибавил я.

«Да, сэр, — отвечала Аменда, не переставая убирать посуду, — хорошо еще, что под руку мне не попалась лучшая шляпка миссис».

Не могу сказать наверное, но думаю, что Этельберту тронул глубокий смысл этих слов, так как дальнейшие расспросы она продолжала не столько строгим, сколько печальным тоном.

«Мы видели, как какой-то солдат обнимал вас за талию, Аменда», — сказала она.

«Да, мэм, — подтвердила Аменда, — я сама обнаружила это, когда музыка кончилась».

Этельберта молчала, но глаза ее сохраняли вопросительное выражение. Аменда сначала налила в кастрюльку воды, а потом сказала:

«Знаю, что я — позор для приличного дома. Ни одна уважающая себя хозяйка не стала бы держать меня ни одной минуты. Меня следует просто выставить за дверь вместе с моим сундучком и месячным жалованьем».

«Но почему же тогда вы так поступаете?» — вполне естественно удивилась Этельберта.

«Потому, что я безвольная дура, мэм. Я ничего не могу с собой поделать. Стоит мне увидеть солдат, как я должна обязательно увязаться за ними, это у меня в крови. Моя бедная двоюродная сестра Эмма была такая же глупенькая. На ней хотел жениться скромный и порядочный молодой человек, владелец мелочной лавочки, а за три дня до свадьбы она убежала с полком морской пехоты в Чэтэм и стала женой сержанта, полкового знаменосца. В конце концов и я, очевидно, кончу тем же. Ведь с солдатами,

которых вы видели, я дошла до самого Сендгэйта, и четверых из этих мерзких негодников я поцеловала! Ну как смогу я после этого проводить время с молочником, ведь он такой порядочный!»

Она говорила о себе с таким отвращением, что было бы жестоко продолжать на нее сердиться, и поэтому Этельберта изменила тон и принялась утешать ее.

«Ну, Аменда, все это пройдет, — сказала она со смехом, — вы же сами видите, какой это вздор. Вы должны попросить мистера Баулса, чтобы он не подпускал вас близко к солдатам».

«Нет, я не могу смотреть на это так легко, как вы, мэм. Девушка, которая не в силах спокойно глядеть на мелькнувший на улице красный мундир без того, чтобы не выскочить из дома и не бежать за ним следом, разве такая девушка годится кому-нибудь в жены? Да я дважды в неделю буду убегать и оставлять лавку без присмотра, а мужу придется разыскивать меня по всем казармам Лондона. Я вот накоплю денег и попрошу, чтобы меня взяли в приют для умалишенных, вот что я сделаю».

Этельберта продолжала удивляться.

«Но ведь этого не было раньше, Аменда, — сказала она, — хотя вы часто встречали солдат в Лондоне?»

«О да, мэм, когда я вижу только одного или двух, и каждый спешит по своему делу, то я могу это выдержать, но когда их много, а с ними еще идет оркестр, тогда я теряю голову».

«Вы не знаете, каково это, мэм, — прибавила она, видя, как поражена Этельберта, — вы никогда этого не переживали, и не дай бог, чтобы это когда-нибудь с вами случилось».

Пока мы оставались в Фолькетоне, мы строго следили за Амендой, и это доставляло нам много хлопот. Каждый день по городу проходил какой-нибудь полк, и при первых звуках музыки Аменда начинала волноваться. Дудка «пестрого флейтиста» не действовала, должно быть, на детей из Гаммельна так, как эти сендгэйтские оркестры — на сердце нашей служанки. К счастью, полки обычно проходили рано утром, когда мы были еще дома, но однажды, возвращаясь с прогулки к завтраку, мы услышали замирающие звуки музыки в конце Хайс-род.

Мы поспешили в дом. Этельберта побежала на кухню — она была пуста; наверх, в комнату Аменды, — там тоже никого не было. Мы начали звать, но никто не откликнулся.

«Эта несчастная девушка опять убежала, — сказала Этельберта. — Как это ужасно для нее, это у нее просто болезнь».

Этельберта хотела, чтобы я пошел разыскивать Аменду в

Сендгэйтский лагерь. Мне самому было очень жалко девушку, но когда я представил себе, как с наивным видом буду бродить вокруг военного лагеря в поисках своей пропавшей служанки, — я отказался. Этельберта назвала меня бессердечным и заявила, что в таком случае она пой-.дет в лагерь сама. Я просил ее не делать этого, так как в лагере уже находится одна особа женского пола из моего дома, и я нахожу, что этого более чем достаточно. Чтобы доказать всю бесчеловечность моего поведения, Этельберта гордо отказалась завтракать, а я, чтобы доказать ее безрассудность, смахнул весь завтрак в камин. Тогда

Этельберта стала проявлять сверхъестественную нежность к кошке, которая не нуждалась ни в чьей нежности, а тянулась под каминную решетку, чтобы достать завтрак, а я необычайно сосредоточенно погрузился в чтение позавчерашней газеты.

После полудня, выйдя побродить в сад, я услышал слабый женский крик, — кто-то звал на помощь.

Я прислушался, крик повторился. Мне показалось, что я узнаю голос Аменды, но я никак не мог понять, откуда он доносился. По мере того, однако, как я углублялся в сад, зов становился все громче, и наконец я понял, что он исходит из небольшого деревянного сарайчика, в котором хозяин дома проявлял фотографические снимки.

Дверь была заперта.

«Это вы, Аменда?» — крикнул я через замочную скважину.

«Да, сэр, — услышал я приглушенный ответ. — Будьте добры, выпустите меня. Ключ лежит на земле около двери».

Я нашел его в траве на расстоянии примерно одного ярда от домика и выпустил ее.

«Кто же запер вас здесь?» — спросил я.

«Я сама, сэр, — отвечала Аменда. — Я заперлась изнутри и выпихнула ключ через щель под дверью. Я не могла не сделать этого, сэр, иначе я ушла бы вслед за этими проклятыми солдатами.

Но я надеюсь, что я не доставила вам беспокойства, — прибавила она, — я оставила завтрак приготовленным на столе, сэр».

Глава XI

Я не могу сказать точно, сколько еще нашего — к счастью, не слишком драгоценного — времени посвятили мы своему замечательному роману.

Перелистывая загнувшиеся на уголках страницы этого растрепанного дневника, я вижу, что отчеты о последних собраниях были беспорядочными и неполными. Проходит несколько недель без единой записи. Затем следует устрашающее деловое собрание, на котором присутствовали Джефсон, Мак-Шонесси, Браун и я и которое было «открыто в 8.30 вечера».

В котором часу это собрание было «закрыто» и к чему оно привело, в нашей летописи, однако, не сказано, хотя на полях можно различить написанное карандашом: «3 ф. 14 ш. 9 п, — 2 ф. 6 ш. 7 п., с итогом в 1 ф. 8 ш. 2 п.». Несомненно, что финансовые результаты этого вечера были не особенно благоприятны.

Тринадцатого сентября мы, должно быть, внезапно почувствовали необыкновенный прилив энергии, ибо я прочел, что мы «решили немедленно начать первую главу», причем слово «немедленно» было подчеркнуто. После этого судорожного усилия мы отдыхали до четвертого октября, когда принялись обсуждать, «будет ли это приключенческий роман или психологический», не придя, впрочем, — насколько это можно заключить из дневника — ни к какому решению.

На том же собрании Мак рассказал про человека, который на аукционе случайно купил верблюда. Но подробностей этого рассказа я не записал, — может быть, к счастью для читателя.

Шестнадцатого числа мы все еще спорили о характере нашего главного действующего лица, и из записи видно, что я предложил в герои человека типа Чарли Басвелла.

Бедный Чарли! Теперь я не понимаю, почему он тогда ассоциировался у меня с образом героя. Очевидно, не из-за каких-либо его героических черт, а просто потому, что он всегда был страшно мил. Я до сих пор помню его залитое слезами мальчишеское лицо (оно так навсегда и осталось мальчишеским), когда он сидел на школьном дворе и топил в ведре с водой трех белых мышей и ручную крысу.

Я сидел по другую сторону ведра и тоже ревел, помогая ему придерживать крышку от кастрюльки над несчастными зверюшками, и

таким-то образом и началась наша дружба, началась и стала расти.

Над гробом этих убитых грызунов Чарли принес торжественную клятву никогда больше не нарушать школьных правил, не заводить ни белых мышей, ни ручных крыс, но направлять всю свою энергию на то, чтобы слушаться учителей и доставлять своим родителям хотя бы небольшую радость в возмещение расходов по его образованию.

Два месяца спустя атмосфера нашего дортуара стала нам казаться скорее странной, чем приятной, и следствие обнаружило, что Чарли превратил свой сундучок в клетку для кроликов. Когда его поставили лицом к лицу с одиннадцатью прыгающими на четырех ногах свидетелями и напомнили его прежние обещания, то он объяснил, что кролики — не крысы. Запрещение держать кроликов он расценил как новое тяжелое правило, которому он должен подчиняться.

Грызунов унесли, и какова была их дальнейшая судьба, мы никогда не узнали точно, но через три дня нам подали к обеду паштет из кроликов.

Для успокоения Чарли я принялся убеждать его, что, может быть, это и не его кролики. Но он, уверенный, что это именно они, пока ел, все время лил слезы в тарелку, а после обеда, во дворе, смело бросился в драку с мальчиком из четвертого класса за то, что тот попросил вторую порцию.

В тот же вечер Чарли принес еще одну торжественную клятву и в течение следующих шести месяцев был самым примерным мальчиком во всей школе.

Он читал филантропические брошюры, жертвовал все свои сбережения на поддержку обществ, не желающих оставлять в покое язычников, и подписался на «Юного христианина», «Еженедельную прогулку» и «Евангелическую смесь» (под которой, собственно, неизвестно что подразумевается).

Прием внутрь этой зловредной литературы в чрезмерных н ничем не разбавленных дозах естественно пробудил в нем стремление к чему-нибудь прямо противоположному. Он забросил вдруг «Юного христианина» и «Еженедельную прогулку» и стал покупать сенсационные романы ужасов ценой в одно пенни.

Не интересуясь больше судьбой язычников, он накопил некоторую сумму денег и приобрел подержанный револьвер с сотней патронов. Мечтой Чарли, как сознался он мне, было стать метким, бьющим без промаха стрелком, и можно только удивляться, как он не добился своей цели.

Конечно, тайну его снова обнаружили, что привело к очередным неприятностям, очередному раскаянию и обращению на путь истинный и к

очередному решению начать новую жизнь.

Бедный мальчик, он так и жил все время «начиная новую жизнь».

Он начинал новую жизнь в первый день каждого нового года, в день своего рождения, в день рождения кого-нибудь другого. Мне кажется, что в дальнейшем, когда он понял всю серьезность этих начинаний, он стал считать своим долгом производить их в первый день каждого квартала, когда истекают сроки платежей. Он называл это «производить генеральную чистку и начинать сызнова».

Мне кажется, что юношей он был даже лучше, чем многие из нас. Но у него не было того ценного свойства, которое является отличительной чертой потомков англосаксов, где бы они ни находились, а именно — умения лицемерить. Стоило ему совершить какой-либо, даже самый незначительный, проступок, как все сразу же становилось известным, а это — большое несчастье для человека и приводит к постоянным недоразумениям.

Милый мой, простодушный мальчик, он так и не понял, что он такой же, как и все остальные люди, может быть» только чуть-чуть более прямой и честный, а он считал себя чудовищем развращенности. Однажды вечером я застал его дома занятым сизифовым трудом «генеральной чистки». Перед ним лежала гора писем, фотографий и счетов. Он рвал их и бросал в огонь.

Я хотел подойти к нему, но он остановил меня. «Не подходи, — закричал он, — не трогай меня! Я не достоин пожать руку честному человеку».

От таких слов обычно краснеешь и чувствуешь себя неловко. Я не нашел подходящего ответа и пробормотал нечто вроде того, что он не хуже других.

«Молчи, — резко перебил он меня. — Я знаю, ты говоришь так только для моего утешения, но я не люблю слушать утешения. Если бы я думал, что другие похожи на меня, то мне стыдно было бы называться человеком. Я поступал как подлец; но, слава богу, еще не поздно. Завтра утром, дружище, я начну новую жизнь».

Он закончил свою работу по уничтожению прошлого, а потом позвонил и послал слугу за бутылкой шампанского.

«Это мой последний бокал, — сказал он, чокаясь со мной. — Старая жизнь кончена. Начинается новая».

Он сделал глоток и бросил бокал с остатками вина в огонь. Он всегда любил театральные эффекты, особенно в решительные минуты своей жизни.

Долгое время после этого я нигде с ним не встречался. Но однажды

вечером, ужиная в ресторане, я увидел его прямо против себя в явно подозрительной компании. Он покраснел и подошел ко мне.

«Почти полгода я был старой бабой, — сказал он со смехом, — я не мог выдержать этого больше… А кроме того, — продолжал он, — разве жизнь нам дана не для того, чтобы жить? Стараться быть тем, чем ты не являешься на самом деле, — это одно лицемерие. И знаешь ли, — тут он перегнулся ко мне через стол и голос его зазвучал серьезно, — честно и строго говоря, я знаю, я чувствую, что я лучше сейчас, когда я снова стал самим собой, чем когда я пытался быть каким-то противоестественным святым».

Он всегда увлекался крайностями, и в этом была его основная ошибка. Он думал, что клятвенное обещание, лишь бы оно было достаточно громким, может запугать и подавить человеческую природу, тогда как на самом деле оно бросает ей вызов. В результате, поскольку каждое его новое «обращение» уводило его все дальше и дальше, з.а ним неизбежно должно было следовать все большее отклонение маятника в обратную сторону. А так как сейчас на него напало бесшабашное настроение, то он и пустился во все тяжкие. И вдруг однажды вечером я неожиданно получил от него записку: «Приходи в четверг, это канун моей свадьбы».

Я пошел к нему. Он опять проводил «генеральную чистку». Все ящики были выдвинуты, а на столе громоздились связки карточек, записи ставок при игре на тотализаторе и листы исписанной бумаги. Все это, конечно, подлежало уничтожению.

Я улыбнулся. Я не мог удержаться от улыбки, а он, нисколько не смущаясь, смеялся своим обычным добродушным, открытым смехом.

«Знаю, знаю, — весело закричал он, — но сейчас это совсем не то, что раньше!»

Потом он положил руку мне на плечо и сказал с той внезапной серьезностью, которая свойственна поверхностным людям:

«Бог услышал мою молитву, дружище. Он знает, что я слаб, и послал мне на помощь своего ангела».

Он снял с каминной полки портрет и протянул мне. Я увидел лицо, как мне показалось, холодной и ограниченной женщины, но Чарли, конечно, был от нее без ума.

Во время нашего разговора из кучи бумаг вылетел и упал на пол старый ресторанный счет. Мой друг нагнулся, поднял его и, держа в руке, задумался.

«Заметил ли ты, как подобные вещи сохраняют аромат шампанского и горящих свечей? — спросил он, небрежно нюхая листок. — А интересно,

где теперь она?»

«Мне кажется, что в такой вечер я не стал бы вспоминать о ней», — ответил я.

Он разжал пальцы, и бумага упала в огонь.

«Боже мой, — воскликнул он с жаром, — когда я подумаю о том вреде, который я причинил, о непоправимом и все растущем зле, которое я, быть может, принес в этот мио… О боже, дай мне прожить долгую жизнь, чтобы я мог искупить свои ошибки. Каждый час, каждая минута моей жизни будет отныне посвящена добру!»

Он стоял предо мной, подняв к небу свои живые детские глаза, и казалось, что лицо его зажглось озарившим его свыше светом.

Я подвинул к нему фотографию, и теперь она лежала на столе прямо перед ним. Он преклонил колени и прижался губами к портрету.

«С твоей помощью, моя дорогая, — пробормотал он, — и с помощью неба».

На следующее утро он женился. Жена его оказалась высоконравственной женщиной, хотя нравственность ее была, как это часто бывает, негативного свойства: она больше ненавидела зло, чем любила добро.

Ей удалось дольше, чем я думал, удержать мужа на прямом, может быть даже чуточку слишком прямом, пути, но в конце концов он неизбежно снова сорвался.

Я пришел к нему, так как он вызвал меня страшно взволнованным письмом, и нашел его в глубоком отчаянье. Это была старая история: он поддался человеческой слабости и не сумел принять даже самых элементарных мер для того, чтобы скрыть свою вину. Он стал рассказывать мне все подробно, прерывая речь восклицаниями о том, какой он великий преступник, и мне пришлось взять на себя роль примирителя. Это была нелегкая задача, но в конце концов жена согласилась простить мужа. Я сообщил ему об этом, и радость его буквально не имела границ.

«Как бесконечно добры женщины! — воскликнул он, и слезы навернулись ему на глаза. — Но жена моя не раскается. Видит бог, что, начиная с сегодняшнего дня…» Он остановился, и впервые в жизни в душу его закралось сомнение в самом себе. Радостное выражение исчезло с его лица, и по нему скользнула тень прожитых лет.

«Я вижу, что я производил генеральную чистку и начинал снова в течение всей своей жизни, — сказал он печально, — и теперь я понял, откуда идет весь этот мусор и каким единственным способом можно от него избавиться».

Тогда до меня не дошло все значение этих слов — мне суждено было понять его несколько позже.

Мой друг продолжал бороться, насколько позволяли ему его силы, и однажды снова сорвался, но каким-то чудом падение его не было обнаружено.

Все выяснилось только много времени спустя, а в то время только двое знали его тайну. Это было его последним поражением.

Однажды поздно вечером я получил наспех нацарапанную записку от его жены с просьбой прийти сейчас же. «Случилась ужасная вещь, — писала она, — после обеда Чарли пошел к себе наверх, чтобы заняться, как он говорит, „генеральной чисткой“, и просил не мешать ему. Вынимая вещи из письменного стола, он, должно быть, неосторожно взял лежавший в ящике револьвер, очевидно забыв, что он заряжен. Мы услышали выстрел, бросились в комнату и увидели, что Чарли лежит на полу мертвый. Пуля попала прямо в сердце».

Да, едва ли он относился к тому типу мужчин, которых можно назвать героями. Хотя, впрочем… Может быть, он боролся больше, чем многие из тех, кто выходит победителем. На суде человеческой жизни нам приходится обычно выносить решение на основании только косвенных улик, а главный свидетель, человеческая душа, так и остается неопрошенным.

Однажды я обедал в гостях и помню, что разговор зашел о храбрости. Оказавшийся в нашей компании немец рассказал нам следующий эпизод, героем которого был офицер прусской армии.

«Я не буду называть его имени, — начал наш собеседник, — ибо все, что он рассказывал, было конфиденциально.

Сам я узнал эту историю следующим образом. За смелый подвиг, совершенный во время короткой войны с Австрией, мой друг был награжден орденом Железного Креста, который, как вы знаете, является высшей наградой в нашей армии. Лица, заслужившие этот орден, обыкновенно чрезвычайно гордятся им, что вполне понятно. Мой же приятель, наоборот, держал его всегда спрятанным в ящике письменного стола и надевал только в официальных случаях, когда не мог этого избежать. Казалось, ему неприятен самый вид этого ордена. Однажды я спросил его почему. Мы с ним старые и близкие друзья, и он рассказал мне следующее.

Он был еще совсем юным лейтенантом, и это было первое «дело», в котором он участвовал. Случилось так, что он оказался отрезанным от своей роты и, не имея возможности пробиться к ней обратно, примкнул к

пехотному полку, стоявшему на крайнем правом фланге.

Усилия противника были направлены главным образом против левого сектора центрального участка фронта, и в течение некоторого времени наш лейтенант оставался только отдаленным зрителем боя. Но внезапно направление вражеской атаки переменилось, и позиция пруссаков оказалась чрезвычайно опасной и ответственной. Снаряды стали ложиться в неприятной близости; последовал приказ «ложись». Люди упали и замерли. Снаряды взрывали вокруг них землю и забрасывали их грязью. В животе у нашего друга появилась ужасная спазматическая боль, поднимавшаяся все выше и выше. Он почувствовал, как голова его и сердце сжались и похолодели. Кусок шрапнели снес голову его соседу, а ему самому брызнувшей кровью залило все лицо; минуту спустя другой снаряд разворотил спину парня, лежавшего впереди.

Нашему лейтенантику стало казаться, что самое тело его не принадлежит ему больше, а что распоряжается им какое-то другое, сжавшееся от страха существо. Он поднял голову и осмотрелся. Он сам и три солдата, все трое моложе его и тоже впервые участвовавшие в бою, были совсем одни в этом аду. Они лежали крайними, и рельеф местности полностью скрывал их от остальных товарищей.

Все четверо взглянули друг на друга, и каждый прочитал мысли другого. И вот, оставив винтовки в траве, они начали медленно ползти прочь, лейтенант — впереди, остальные-за ним. На расстоянии нескольких сот ярдов возвышался небольшой крутой холм. За ним они были надежно укрыты. Они подвигались ползком, останавливаясь примерно через каждые тридцать ярдов, чтобы полежать неподвижно и перевести дух, а потом принимались ползти еще быстрее, обдирая кожу о неровности почвы.

Наконец они добрались до подножия возвышенности, немного обогнули ее, подняли головы и оглянулись. Здесь никто из своих не мог их увидеть.

Тогда они вскочили на ноги и бросились бежать, но через десять шагов столкнулись лицом к лицу с австрийской полевой батареей. Демон, вселившийся в них, теперь окончательно овладел ими. Это были уже не люди, а дикие звери, обезумевшие от страха. И вот все четверо (так порой толпа, охваченная паникой, бросается с отвесного утеса прямо в море) с криком выхватили свои палаши и кинулись на вражескую батарею.

Противник, ошеломленный внезапным нападением, решил, что это целый батальон пруссаков, бросил свои позиции и в беспорядке, бегом, ринулся с холма вниз. Когда наш лейтенант увидел бегущих австрийцев, то страх, также независимо от его воли, исчез, уступив место одному только

желанию — рубить и убивать. Четыре пруссака кинулись вслед за улепетывающими австрийцами, на бегу нанося им удары. А когда с грохотом подоспела прусская кавалерия, то оказалось, что наш лейтенантик и его три приятеля захватили два орудия и расправились с десятком врагов. На следующий день его вызвали в штаб. «Я попросил бы вас, сэр, — сказал ему начальник штаба, — запомнить раз и навсегда, что его величество не нуждается в том, чтобы лейтенанты совершали военные действия по своему собственному плану. Атаковать батарею противника, имея в своем распоряжении трех человек, это не война, а черт знает что за дурачество. Вас следовало бы предать полевому суду».

Затем, совсем уже другим тоном, старый вояка, улыбаясь, прибавил:

«Однако, мой юный друг, быстрота и смелость — это хорошие качества, особенно когда они увенчиваются успехом. Если бы австрийцам удалось установить батарею на этой высоте, то не так-то легко было бы нам выбить ее оттуда, и, может быть, учтя все обстоятельства, его величество простит вашу неосторожность».

«Его величество не только простило меня, но пожаловало мне Железный Крест, — заключил мой приятель. — Чтобы поддержать достоинство армии, я счел за лучшее молчать и принял его. Но, как вы сами понимаете, вид этого ордена вызывает во мне не очень-то приятные воспоминания».

Но вернемся к моему дневнику. Из записей видно, что четырнадцатого ноября у нас было еще одно собрание. На нем присутствовали только Джефсон, Мак-Шонесси и я, и в дальнейшем имя Брауна больше не упоминается. В сочельник мы трое встретились снова, и из записей видно, что Мак-Шонесси сварил пунш с виски по своему собственному рецепту, и я помню, какими печальными для всех троих были последствия этого рождественского вечера. Но ни на одном из этих собраний мы ничего не обсуждали.

Затем следует перерыв до восьмого февраля, когда собрались только Джефсон и я.

Но тут мой дневник, как догорающая свеча, дал последнюю вспышку и озарил ярким светом беседу этого вечера. Мы говорили о многих вещах — кажется, почти обо всем, кроме нашего романа. Между прочим, мы говорили и о литературе вообще.

— Я устал от этой вечной болтовни о книгах, — сказал Джефсон, — от целых столбцов критики по поводу каждой написанной строчки, от бесконечных книг о книгах, от громких похвал и столь же громких порицаний, от бессмысленного преклонения перед прозаиком Томом,

бессмысленной ненависти к поэту Дику и бессмысленных споров из-за драматурга Гарри. Во всем этом нет ни беспристрастных суждений, ни здравого смысла. Если послушать Верховных Жрецов Культуры, то можно подумать, что человек существует для литературы, а не литература для человека.

Нет. Мысль существовала до изобретения печатного станка, и люди, которые написали сто лучших книг, никогда их не читали. Книги занимают свое место в мире, но они не являются целью мироздания. Книги должны стоять бок о бок с бифштексом и жареной бараниной, запахом моря, прикосновением руки, воспоминанием о былых надеждах и всеми другими слагаемыми общего итога наших семидесяти лет. Мы говорим о книгах так, будто они — голоса самой жизни, тогда как они — только ее слабое эхо. Сказки прелестны как сказки, они ароматны, как первоцвет после долгой зимы, и успокаивают, как голоса грачей, замирающие с закатом солнца. Но мы больше не пишем сказок. Мы изготавливаем «человеческие документы» и анатомируем души.

Вдруг он резко оборвал свою речь.

— А знаете, что напоминают мне все эти «психологические» исследования, которые сейчас в такой моде? Обезьяну, ищущую блох у другой обезьяны.

— И что в конце концов обнажаем мы своим прозекторским ножом? — продолжал он. — Человеческую природу или только более или менее грязное нижнее белье, скрывающее и искажающее эту природу? Рассказывают, как один старый бродяга, преследуемый неудачами, вынужден был искать пристанища в — Портландской тюрьме. Гостеприимные хозяева, желая как можно лучше ознакомиться со своим гостем во время его кратковременного пребывания, решили вымыть его. Они купали его дважды в день в течение целой недели и каждый раз открывали в нем что-нибудь новое, пока наконец не дошли до фланелевой рубашки. И этим им пришлось удовлетвориться, так как мыло и вода оказались бессильными проникнуть глубже.

Этот бродяга, как мне кажется, вполне может быть символом всего человечества. Человеческая природа так долго была облачена в условности, что они просто приросли к ней. Теперь, в девятнадцатом веке, невозможно уже сказать, где кончается одежда условностей и где начинается естественный человек. Наши добродетели привиты нам как некие признаки «умения себя держать». Наши пороки — это пороки, признанные нашим временем и кругом. Религия, как готовое платье, висит у нашей колыбели, и любящие руки торопятся надеть ее на нас и

застегнуть на все пуговицы. Мы с трудом приобретаем необходимые вкусы, а надлежащие чувства выучиваем наизусть. Ценой бесконечных страданий мы научаемся любить виски и сигары, высокое искусство и классическую музыку. В один период времени мы восхищаемся Байроном и пьем сладкое шампанское; двадцать лет спустя входит в моду предпочитать Шелли и сухое шампанское. В школе мы учим, что Шекспир — великий поэт, а Венера Медицейская — прекрасная статуя, и вот до конца дней своих мы продолжаем говорить, что величайшим поэтом считаем Шекспира и что нет в мире статуи, прекрасней Венеры Медицейской. Если мы родились французами, то обожаем свою мать. Если мы англичане, то любим собак и добродетель. Смерть близкого родственника мы оплакиваем в течение двенадцати месяцев, но о троюродном брате грустим только три месяца. Порядочному чело-лску полагается иметь свои определенные положительные качества, которые он дйлжен совершенствовать, и свои определенные пороки, в которых он должен раскаиваться. Я знал одного хорошего человека, который страшно беспокоился оттого, что не был достаточно гордым и не мог поэтому, логически рассуждая, молиться о смирении.

В обществе полагается быть циничным и умеренно испорченным, а богема считает правилом не признавать никаких правил. Я помню, как моя мать увещевала свою приятельницу актрису, которая бросила любящего мужа и сбежала с противным, безобразным, ничтожным фарсовым актером (все это было давным-давно).

«Ты с ума сошла, — говорила моя мать, — зачем ты это сделала?»

«Моя милая Эмма, — отвечала та, — что же мне еще оставалось делать? Ведь ты знаешь, я совсем не умею играть, и мне обязательно нужно было выкинуть нечто необыкновенное, чтобы показать, что я все же артистическая натура!»

Мы — марионетки, наряженные в маскарадные платья. Наши голоса-это голос невидимого хозяина балагана, и имя этому хозяину — «условность». Он дергает за нити, а мы отвечаем судорогами страсти или боли. Человек — это нечто вроде тех огромных длинных свертков, которые мы видим на руках у кормилиц. На вид это — масса тонких кружев, пушистого меха и нежных тканей, а где-то внутри, скрытый от взгляда всей этой мишурой, дрожит крохотный красный комочек человеческой жизни, который проявляет себя только бессмысленным плачем.

— На самом деле существует только одна повесть, — продолжал Джефсон после долгого молчания, скорее высказывая вслух свои собственные мысли, чем говоря со мной. — Мы сидим за своими

письменными столами и думаем и думаем, и пишем и пишем, но повесть остается всегда одна и та же. Люди рассказывали, и люди слушали ее уже много лет тому назад. Мы рассказываем ее друг другу сегодня и будем рассказывать ее друг другу тысячу лет спустя. И эта повесть такова: «Жили когда-то мужчина и женщина, и женщина любила мужчину». Мелкий критик будет кричать, что это старо, и требовать чего-нибудь поновее. Он полагает, подобно детям, что в нашем мире еще может быть что-то новое.

Здесь мои записки кончаются. И больше в тетради ничего нет.

Думал ли еще кто-нибудь из нас об этом нашем романе, собирались ли мы еще для его обсуждения, был ли он начат, был ли прерван, не знаю.

Есть одна волшебная сказка. Я прочел ее много-много лет тому назад, но она до сих пор сохранила для меня свое очарование. Это сказка о том, как один маленький мальчик взобрался однажды на радугу и в самом конце ее, за облаками, увидел чудесный город. Дома в нем были золотые, а мостовые — серебряные, и все озарял свет, подобный тому, который на утренней заре освещает еще спящий мир.

В этом городе были дворцы, такие красивые, что в одном созерцании их таилось удовлетворение всех желаний; храмы-столь величественные, что достаточно было преклонить там колена, чтобы очиститься от грехов. Мужчины этого чудесного города были сильны и добры, а женщины прекрасны, как грезы юноши.

Имя же этому городу было «Город несвершенных деяний человечества».

---

notes

1

Вполголоса *(итал.)*